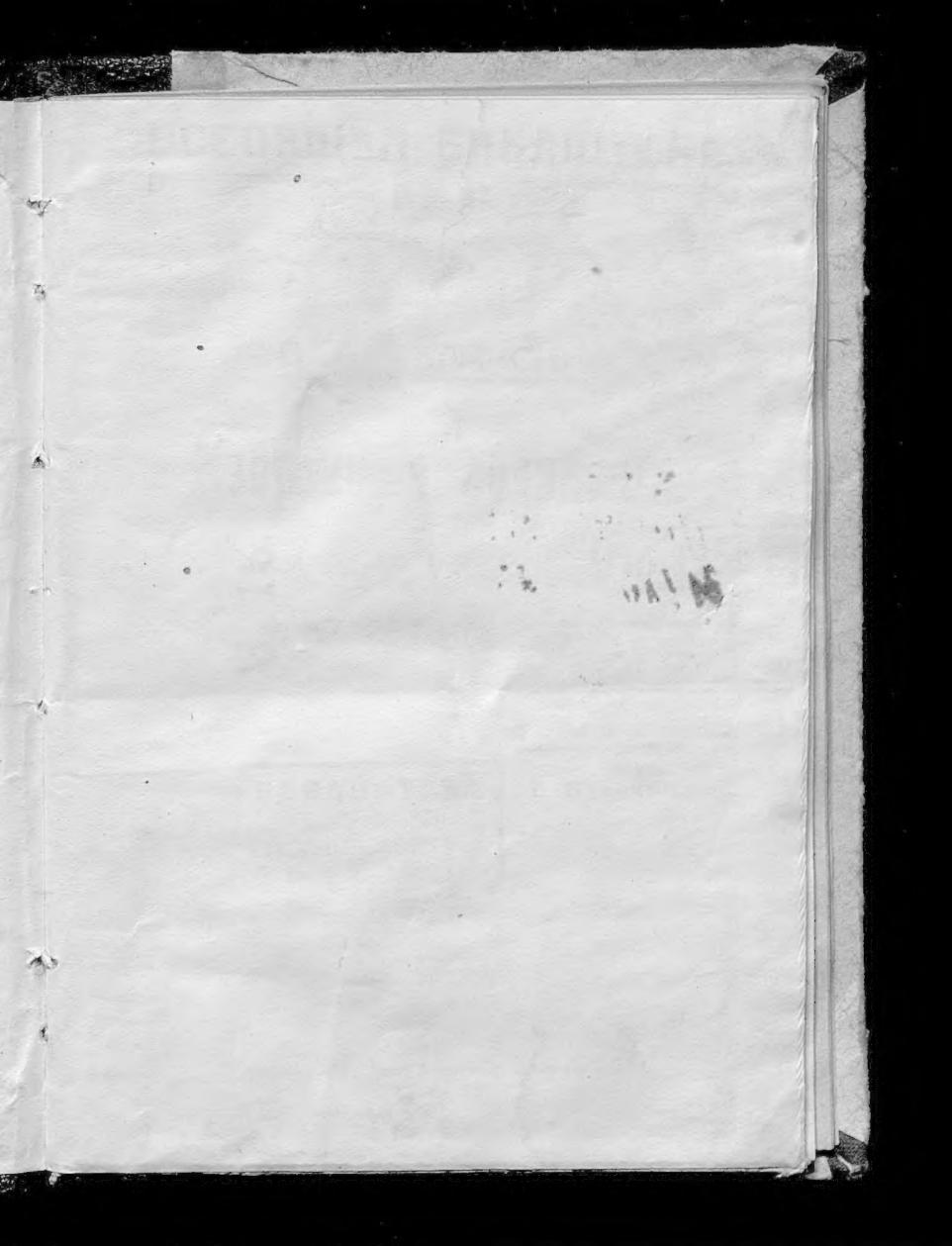
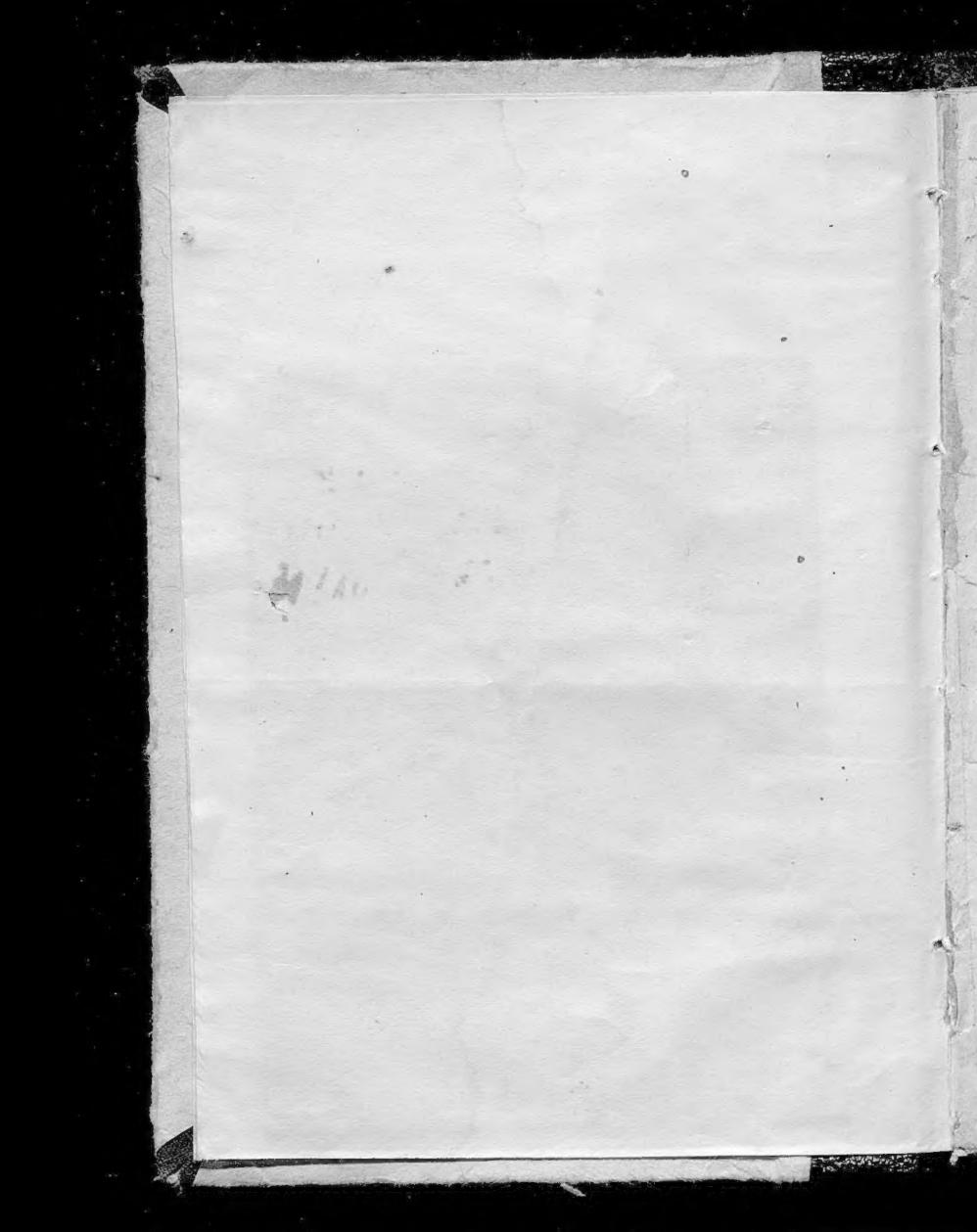
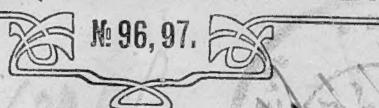
3116 1110.1955 r. Dermonuel " e le personnot

15/20-317 11/11/49 998 31/11 M 15/40 2006





### ВСЕОБЩАЯ БИБЛІОТЕКА.



В Г. БЪЛИНСКІЙ

# Избранныя сочиненія.

1

V

Пр. 1955 г.



Ю. ЛЕРМОНТОВЪЛНОТЕКА

СВЕРДІОВСКОГО ГОСУНИВЕРСИТЕТА

Классное изданіе подъ редакціей В. Никольскаго.

**BEBAUOTEKA** 

CBEPAJOBCKOTO
COCYHUBEPCUTETA
M. A. M. FOPEROFO



2-ое изданіе

1911. Изданіе Акц. Общ. Типограф. Дёла въ СПб. 7 Рота, 26.

- 9953

## ИЗБРАННЫЯ СОЧИНЕНІЯ В. Г. Бълинскаго

въ изданіи "Всеобщей Библіотеки".

І. О поэзіи (съ портретомъ автора). № 91.—1

II. Русская литература отъ Ломоносова до кина. № 92.—10 коп.

Ш. А. С. Пушкинъ. № 93, 94.—20 коп.

IV. Н. В. Гоголь. № 95.—10 коп.

V. М. Ю. Лермонтовъ., № 96, 97.—20 коп.

чи шарод вусская литература. № 98.—10 коп



Типографія Акц. О-ва Тип. Дѣла въ СПб. (Герольдь). Изм. п., 7 рота, 26.

### м. ю. лермонтовъ.

#### Герой нашего времени.

На горизонтѣ нашей поэзіи взошло новое яркое свѣтило и тотчась оказалось звѣздою первой величины. Мы говоримь о Лермонтовѣ, который, безъ имени, явился въ «Литературныхъ Прибавленіяхъ къ Русскому Инвалиду» 1838 года съ поэмою «Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», а съ 1839 года постоянно продолжаетъ являться въ «Отечественныхъ Запискахъ».

Въ то время какъ какія-нибудь два стихотворенія, помѣщенныя въ первыхъ двухъ книжкахъ «Отечественныхъ Записокъ» 1839 года возбудили къ Лермонтову столько интереса со стороны публики, утвердили за нимъ имя поэта съ большими надеждами, Лермонтовъ вдругъ является съ повѣстью «Бэла», написанною въ прозѣ. Это тѣмъ пріятнѣе удивило всѣхъ, что еще болѣе обнаружило силу молодого таланта и показало его разнообразіе и многосторонность. Въ повѣсти Лермонтовъ явился такимъ-же творцомъ, какъ и въ своихъ стихотвореніяхъ.

«Бэла», заключая въ себѣ интересь отдѣльной и оконченной повѣсти, въ то-же время была только отрывкомъ изъ большого сочиненія, равно какъ и «Фаталистъ», и «Тамань», впослѣдствіи напечатанные въ «Отечественныхъ-же Запискахъ». Теперь они являются вмѣстѣ съ другими, съ «Максимомъ Максимычемъ», «Предисловіемъ къ журналу Печерина» и

«Княжной Мери», подъ однимъ общимъ заглавіемъ «Героя нашего времени». Во всёхъ повёстяхъ одна мысль, и эта мысль выражена въ одномъ лицё, которое есть герой всёхъ разсказовъ. Въ «Бэлё» онъ является какимъ-то таинственнымъ лицомъ. Героиня этой повёсти вся нередъ вами, но герой какъ-будто-бы ноказывается подъ вымышленнымъ именемъ, чтобы его не узнали. Изъ-за отношеній его къ Бэлё вы невольно догадываетесь о какой-то другой пов'єсти, заманчивой, таинственной и мрачной. И вотъ авторъ тотчасъ показываетъ вамъ его при свиданіи съ Максимомъ Максимычемъ, который разсказалъ ему пов'єсть о Бэлё. Но ваше любонытство не удовлетворено, а только еще бол'єе раздражено,

все еще остается для васъ зага-, въ рукахъ автора журналъ ісловін къ которому авторъ дѣлаетъ омана, но намекъ, который только ъ ваше нетерпѣніе познакомиться

ческомъ разсказъ «Тамань» герой романа является автобіографомъ, но загадка отъ этого становится только заманчивъе, и отгадка еще не тутъ. Наконецъ, вы переходите къ «Княжнъ Мери», и туманъ разсъвается, загадка разгадывается, основная идея романа, какъ горькое чувство, мгновенно овладъвшее всъмъ существомъ вашимъ, пристаетъ къ вамъ и преслъдуетъ васъ. Вы читаете, наконецъ, «Фаталиста», и хомя въ этомъ разсказъ Печоринъ является

а только разсказчикомъ случая, кото-Da ъ свидътелемъ; хотя въ немъ вы не на цной новой черты, которая дополнила-бы Ba «Героя нашего времени», но — странное **五**生 це болње понимаете его, болње думаете 0 1 ге чувство еще грустиве... Эта пол-HO! нія, въ которомъ всѣ разнообразныя чуі вавшія васъ при чтеніи романа, сли-Ban ное общее чувство, въ которомъ всѣ

лица, каждое столь интересное само по себъ, такъ полно образованное, становятся вокругь одного лица, составляють съ нимъ группу, которой средоточіе это одно лицо, — вм'вст'в съ вами смотрятъ на него, кто съ любовью, кто съ ненавистью какая причина этой полноты впечатленія? Она заключается въ единствъ мысли, которая выразилась въ романъ, и отъ которой произошла эта гармоническая соотвътственность частей съ цълымъ, это строго соразм'трное распредаление ролей для встахъ лицъ, наконецъ, эта оконченность, полнота и замкну-

тость цёлаго.

Ъ

й

Романъ начинается описаніемъ перетада автора изъ Тифлиса чрезъ Кайшаурскую долину. Не утомляя скучными подробностями, знакомить онъ насъ съ мъстностью. Очерки его столько-же кратки, сколько и ръзки, а главное — они набросаны какъ-будто-бы мимоходомъ. Въ то время, какъ его телъжку тащили въ гору шесть быковъ и нѣсколько осетинъ, онъ замътилъ, что за его телъжкою двигалась другая, которую тащили четыре быка, а за нею шель ея хозяинъ, куря изъ маленькой трубочки. Это былъ офицеръ, лътъ пятидесяти, съ смуглымъ лицомъ и преждевременно посъдъвшими усами, которые не соотвътствовали его твердой походкъ и бодрому Авторъ подошелъ къ нему и поклонился; тотъ молча отвътилъ на его поклонъ, пустивъ огромный клубъ дыма.

— Мы съ вами попутчики, кажется?

Онъ молча опять поклонился.

— Вы върно вдете въ Ставрополь?

— Такъ-съ точно... съ казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую телъжку четыре быка тащать шутя, а мою пустую шесть скотовъ едва подвигають съ помощью этихъ осетинъ?

Онъ лукаво улыбнулся и значительно взглянулъ

на меня.

— Вы върно недавно на Кавказъ?

— Съ годъ, — отвъчалъ я. Онъ улыбнулся вторично. — А что-жъ?

— Да такъ-съ! ужасные бестіи эти азіяты! Вы думаєте, они помогають, что кричать? А чорть ихъ знаєть, что они кричать? Быки-то ихъ понимають; по своєму, быки все ни съ мъста... ужасные плуты! драть съ провзжающихъ... Избаловали мошенниковъ! увидите, они еще съ васъ возьмуть на водку. Ужъ

Такимъ образомъ завязалось у автора знакомство съ однимъ изъ интереснъйшихъ лицъ его романа съ Максимомъ Максимычемъ, съ этимъ типомъ стараго кавказскаго служаки, закаленнаго въ опасностяхъ, трудахъ и битвахъ, котораго лицо такъ-же загоръло и сурово, какъ манеры простоваты и грубы, но у котораго чудесная душа, золотое сердце. Это типъ чисто-русскій, который художественнымъ достоинствомъ созданія напоминаеть оригинальнѣйшіе изъ характеровъ въ романахъ Вальтеръ Скотта и Купера, но который, по своей новости, самобытности и чисто-русскому духу, не походить ни на одинъ изъ нихъ. Искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы развить на дёлё задачу, какъ данный природою характеръ долженъ образоваться при обстоятельствахъ, въ которыя поставить его судьба. Максимъ Максимычъ получиль отъ природы человъческую душу, человъческое сердце, но эта душа и это сердце отлились въ особую форму, которая такъ и говоритъ намъ о многихъ годахъ тяжелой и трудной службы, о кровавыхъ битвахъ, о затворнической и однообразной жизни въ недоступныхъ горныхъ кръпостяхъ, гдѣ нѣтъ другихъ человѣческихъ лицъ, кромъ подчиненныхъ солдатъ да заходящихъ для мѣны черкесовъ. И все это высказывается въ немъ не въ грубыхъ поговоркахъ, въ родѣ «чортъ возьми», и не въ военныхъ восклицаніяхъ, въ родѣ «тысяча

d7

Ъ

H

сомбъ», безпрестанно новторяемымъ, не въ чонойкахъ и не въ куренін табака, - а во воглядь на вощи. пріобретенномъ навыкомъ и родомъ жизни. и възой нанеръ поступковъ и выраженія, которые дели ил быть пеобходимымъ результаломъ взгляда на вещи и привычки. Умственный кругогоръ Максима Максимыча очень ограниченъ; по причина этой ограниченности не въ его натуръ, а въ его развитін. Для него «жить» — значить «служить», и служить на Кавказ'ь; «азіяты» — его природные враги; опъ знаеть по опыту, что всв опи больше илуты, и что самая ихъ храбрость есть отчаянная удаль разбойничья, подстрекаемая надеждою грабежа; опъ не дается имъ въ обманъ, и ему смертельно досадно, если они обмануть новичка и еще выманять, у него на водку. И это совстмъ не нотому, чтобы онъ быль скупь, — о итть! онь только бъдень, а не скупъ, и сверхъ того, кажется, и не подозрвиаетъ цаны деньгамъ; по опъ не можетъ видать равнодушно, какъ плуты «азіяты» обманывають честныхъ людей. Вотъ чуть-ли не все, что онъ видитъ въ жизни, или по крайней мъръ о чемъ чаще всего говорить. Но не спъшите вашимъ заключеніемъ о его характеръ: познакомьтесь съ нимъ получше,и вы увидите, какое теплое, благородное, даже пъжное сердце бьется въ желъзной груди этого, повидимому, очерств'ввшаго челов'вка; вы увидите, какъ онъ, какимъ-то инстинктомъ, понимаетъ все человъческое и принимаеть въ немъ горячее участі... пакъ, вопреки собственному сознанію, душа его жаждеть любви и сочувствія, - и вы оть души полюбите простого, добраго, грубаго въ своихъ манерахъ, лаконическаго въ словахъ Максима Максимыча.

Воть, наконець, путешественники нани добрались до станцін и вошли въ саклю, передцее отдъленіе котороїї было наполнено коровами и овцами, а другое — людьми, сидѣвшими возлѣ огия, разложеннаго на землѣ. По полу разстилался дымъ,

обратно вталкиваемый вътромъ изъ отверстія въ потолкъ. Наши путшки закурили трубки, внимал привътливому шипънію чайника.

— Жалкіе люди! — сказаль я штабсъ-капитану, указывая на нашихъ грязныхъ хозяевъ, которые молча на пасъ смотръли въ какомъ-то остолбенънін. —Преглупый народъ! отвічаль онъ. Повірпте ли, ничего не умъють, неспособны ни къ какому ооразованію! Ужь по крайней мірь наши кабардинцы или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянныя башки, а у этихъ и къ оружію никакой охоты пътъ: порядочнаго ни на комъ и не увидишь. Ужъ подлинно осетины!

I

K

B

Ţj

¢

В

В

a

K

J

 $\mathbf{B}$ 

В

N

Ч

C

C

 $\mathbf{C}$ 

 $\mathbf{B}$ 

H

В

Д

— А вы долго были въ Чечнъ?

— Да, я лёть десятокъ стоянь тамь въ крёности съ ротою, у Каменнаго Брода, знаете?

— Воть, батюшка, надобли намъ эти головоръзы; нынче, слава Богу, смириве, а бывало, на сто шаговь отойдень за валы, ужь где-нибудь косматый дьяволъ сидить и караулить: чуть зазъвался, того и гляди — либо арканъ на тев, либо пуля въ затылкъ. А молодцы!...

— А, чай, много съ вами бывало приключеній?

сказалъ я, подстрекаемый любопытствомъ.

— Какъ не бывать! бывало...

Туть онь началь щипать лёвый усь, повёсиль

голову и призадумался.

И вотъ, Максимъ Максимычъ весь передъ вами, съ своимъ взглядомъ на вещи, съ своимъ оригинальнымъ способомъ выраженія! Вы еще такъ мало видели его, такъ мало познакомились съ нимъ, а уже передъ вами не призракъ, волею или певолею принужденный авторомъ служить связью или вертъть колесо его разсказа, а типическое лицо, оригинальный характеръ, живой человѣкъ! Такъ осуществляютъ свои идеалы истинные художники: двф, три черты — и передъ вами, какъ живая, словно на-яву, стоить такая характерная фигура, которой вы уже никогда не забудете... «Тутъ онъ началъ щинать левый усь, повеснить голову и призадумался»:

какъ много сказано въ этихъ немногихъ, простыхъ словахъ, какую ръзкую черту проводятъ они по физіономіи Максима Максимыча, какъ много объщаютъ, какъ сильно размациваютъ любопытство читателя!...

HO-

Man

HV.

рые

нЪ-Ли,

pa-

ЦЫ

-HF

TLI

Ь.

H

Далъе Бълинскій, часто прибъгая къ длиннымъ выпискамъ изъ «Бэлы», пересказываетъ все ея содержаніе и затъмъ переходить къ разбору «Бълы»:

Глубокое впечатлъніе оставляеть послъ себя «Бэла»: вамъ грустно, но грусть ваша легка, свътла и сладостна: вы летите мечтою на могилу прекрасной, но эта могила не стращна: ее освъщаеть солнце, омываеть быстрый ручей, котораго ропоть, вмъсть съ нелестомъ вътра въ листахъ бузины н былой акаціи, говорить вамь о чемь-то таннственномъ и безконсчномъ, и надъ нею, въ свътлой вышинъ, летаетъ и носится какое-то прекраснос видъніе, съ блъдными ланитами, съ выраженіемъ укора и прощенія въ черныхъ очахъ, съ грустною улыбкою... Смерть черкенненки не возмущаетъ васъ безотраднымъ и тяжельмъ чувствомъ, ибо страшнымъ скелетомъ по произволу явилась не но вслъдствіе разумной необходимости, автора. которую вы предчувствовали уже, и явилась свътлымъ ангеломъ примиренія. Диссонансъ разр'єшился въ гармоническій аккордъ, и вы съ умиленіемъ повторяете простыя и трогательныя слова добраго Максима Максимыча: «Нътъ, она хорошо сдълала, что умерла! ну, что-бы съ ней сталось, если-бъ Григорій Александровичь ее покинуль? А это-бы случилось рано или поздно!»...

И съ какимъ безконечнымъ искусствомъ обрисованъ граціозный образъ плѣнительной черкешенки! Она говорить и дѣйствуетъ такъ мало, а вы живо видите ее передъ глазами во всей опредѣленности живого существа, читаете въ ел сердцѣ, проникаетс всѣ изгибы его... А Максимъ Максимычъ, этотъ добрый простакъ, который и не подозрѣваетъ, какт

глубока и богата его натура, какъ высокъ и благородонъ онъ? Онъ, грубый солдать, любуется Болою. какъ прекраснымъ дитятею, любить ее, какъ милую дочь, — и за что? — спросите его, такъ онъ отвътитъ вамъ: «не то, чтобы любилъ, а такъ — глуность!» Ему досадно, что его ни одна женщина не любила такъ, какъ Бола Печорина; ему грустно, что опа не вспомипла о немъ передъ смертью. хоть онтн самъ сознается, что это съ его стороны не совстмъ справедливое требованіе... Останавливаться - ли на этихъ чертахъ, столь полныхъ безпечностью? Нѣтъ. онъ говорять сами за себя; а тъ, для кого онъ нъмы, тъ не стоять, чтобъ тратить съ ними слова и время. Простая красота, которая есть одна. нстинная красота, не для всёхъ доступна: у большей части людей глаза такъ грубы, что на нихъ дёйствуеть только пестрота, узорочность и краспая краска, густо и ярко намазанная... Характеры Азамата и Казбича — это такіе типы, которые будуть равно попятны и англичанину, и нёмцу, и французу, какъ понятны они русскому. Вотъ что называется рисовать фигуру во весь рость съ національною физіономією и въ національномъ костюмѣ!...

Обратите еще вниманіе на эту естественность разсказа, такъ свободно развивающагося, безъ вслкихъ натяжекъ, такъ плавно текущаго собственною силою, безъ помощи автора. Офицеръ, возвравь горахъ съ другимъ офицеромъ; одинакость дорожнаго положенія даетъ одному право начать разговоръ съ другимъ и такъ естественно доводитъ ихъ до знакомства. Одинъ предлагаетъ чай съ ромомъ— онъ зарекся пить. Очень естественно, что, сидя водитъ съ товарищемъ разговоръ объ обитателяхъ сакли: товарищь этотъ — пожилой офицеръ, много лётъ проведшій на Кавказъ, естественно.

arn-

010.

1720

TTT

Б

LTa

ma

HT.

TT.

na

Ъ.

[75]

38.

a

Ĥ

H

охотно разговорился объ этомъ предметъ. Вопросъ молодого офицера: «А что, много съ вами бывало приключеній?» такъ-же естественъ, какъ и отв'єть пожилого: «Какъ не бывать! бывало...» Но это не приступъ къ повъсти, а только еще, какъ н должно, слабая надежда услышать повъсть: авторъ не погоняеть обстоятельствь, какъ лошадей, но даетъ имъ самимъ развиться. Опъ предлагаетъ Максиму Максимычу чай съ ромомъ: тотъ отказывается отъ рома, говоря, что зарекся пить. Вопросъ: «почему?» молодого офицера такъ-же не можетъ быть сочтенъ натяжкою, какъ откликъ человъка, когда его зовутъ. Отвътъ Максима Максимыча, въ которомъ онъ говоритъ о случат, заставившемъ его заречься пить вино, уже ожидается самимъ читателемъ. Случай этотъ чисто-кавказскій: офицеры нировали, какъ вдругъ сделалась тревога. Но разсужденіе Максима Максимыча, что иногда годъ живн — тревоги ивтъ, «да какъ тутъ еще водка пропадшій человѣкъ», отнимаетъ всякую надежду на новъсть; какъ вдругь онъ обращается къ черкесамъ, которые, если папьются бузы, такъ и начнутъ рубиться, и очень естественно вспоминаетъ одинъ случай. Онъ и расположенъ его разсказать, но какъ-бы не хочетъ навязываться съ разсказачи. Молодой офицеръ, котораго любопытство давно уже сильно возбуждено, но который умфеть умфрить его приличіемъ, съ притворнымъ равнодушіемъ спрашиваетъ: «какъ-же это случилось?» — «Вотъ изволите видъть» — и повъсть началась. Исходный пунктъ ея — страстное желаніе мальчика - черкеса им'ять лихого коня, и вы помните эту дивную сцену изь драмы между Азаматомъ и Казбичемъ. ринъ — человѣкъ рѣшительный, алчущій тревогь и бурь, готовый рискнуть на все для выполненія даже прихоти своей. — а здёсь дёло шло о чемъ-то гораздо большемъ, чёмъ прихоть. Итакъ, все вышло изъ характеровъ дѣйствующихъ лицъ, по законамт

строжайшей необходимости, а не по произволу автора. Но еще повъсть была простымъ анекдотомъ, и новые знакомые уже пустились въ разсужденія по поводу его, какъ вдругъ Максимъ Максимычъ, у котораго воспоминание ожило и потребность сообщить другому возбудилась, какъ-бы говоря съ самимъ собою, прибавилъ: «Никогда себъ не прощу одного: чорть дернуль меня, прівхавь въ крипость, пересказать Грнгорію Александровнчу все, что я слышаль, сидя за заборомь; онъ посмёялся, — такой хитрый! — а самъ задумаль кое-что». Что можеть быть естествените, проще всего этого? Такая естественность и простота никогда не могуть быть дѣломъ разсчета и соображенія: онъ — плодъ вдохновенія.

Итакъ, исторія Бэлы кончилась; но романъ еще только начался, и мы прочли одно вступленіе. которое, впрочемъ, и само по себъ, отдъльно взятель. есть художественное произведение, хотя и составляеть только часть цёлаго. Но пойдемъ далфе. Во Владикавказъ авторъ опять сътхался съ Максимомъ Максимычемъ. Когда они объдали, на дворъ въбхала щегольская коляска, за которою шель челоевкъ. Песмотря на грубость этого человвка, «балованнаго слуги лениваго барина», Максимъ Максимычъ допросился у него, что коляска принадлежить Печорину. «Что ты? Что ты? Печоринъ?... Ахъ, Боже мой!... Да не служилъ-ли онъ на Кавказѣ?» Въ глазахъ Максима Максимыча сверкала радость. «Служиль, кажется, да я у нихъ недавно», отвъчаль слуга. «Ну, такъ!... Тригорій Александровичъ? Такъ вѣдь его зовутъ? Мы съ твоимъ бариномъ были пріятели», прибавилъ Максимъ Максимычъ, ударивъ дружески по плечу лакея, такъ что заставилъ его пошатнуться... -- «Позвольте, сударь; вы мив мвиаете» — сказаль тоть, нахмурившись. «Экой ты, братецъ!... Да знаешь-ли? Мы съ твонмъ бариномъ были друзья закадычные, жили вм/кст/б...

a.

10

 $\{\mathcal{Y}\}$ 

0

O'

T

Да гдё-жъ онъ самъ остался?» Слуга объявиль, что Печоринь остался ужинать и ночевать у полковника Н\*\*\*. «Да не зайдеть-ли онь вечеромъ сюда?» сказалъ Максимъ Максимычь; «или ты, любезный, не пойдешь-ли къ нему за чёмъ-пибудь?...» Коли пойдешь, такъ скажи, что здёсь Максимъ Максимычь; такъ и скажи... ужъ онъ знаеть... Я дамъ тебё восьмигривенный на водку...» Лакей сдёлалъ презрительную мину, слыша такое спромное объщаніе, однако увёрилъ Максима Максимыча, что исполнить его порученіе. «Вёдь сейчасъ прибёжить!... сказалъ мнё Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ, «пойду за ворота дожидаться... Эхъ жалко, что я не знакомъ съ Н\*\*\*!»

Итакъ, Максимъ Максимычъ ждетъ за воротами. Онъ отказался отъ чашки чая и, наскоро вышвъ одну, по вторичному приглашенію, опять выбѣжалъ за ворота. Въ немъ замѣтно было живѣйшее безпокойство, и явно было, что его огорчало равнодушіе Печорина. Новый его знакомый, отвориеть окно, звалъ его спать; опъ что-то пробормоталъ, а на вторичное приглашеніе ничего не отвѣтиль. Уже ноздно ночью вошель онъ въ компату, бросиль трубку на столъ, сталъ ходить, ковырять въ нечи, наконецъ легъ, но долго кашлялъ, плевалъ, ворочался... «Не клопы-ли васъ кусаютъ?» спросиль его новый пріятель. — «Да, клопы...» отвѣчалъ опъ, тяжело вздохнувъ.

На другой день утромъ сидълъ онъ за воротами. «Мит надо сходить къ коменданту, — сказалъ онъ, — такъ пожалуйста, если Печоринъ придеть, принилите за мной». Но лишь ущелъ онъ, какъ предметь его безпокойства явился. Съ любопытствомъ смотрълъ на него нашъ авторъ, и результатомъ его внимательнаго наблюденія былъ подробный портреть, къ которому мы возвратимся, когда будемъ говорить о Печоринъ, а тенерь займемся исключительно Максимомъ Максимычемъ. Надо сказать, что когда

Печоринъ пришелъ, лакей доложилъ ему, что сейчасъ будутъ закладывать лошадей.

Здёсь Бёлинскій приводить длинную выписку о встрёчё Максима Максимыча съ Печоринымъ п отъёздё послёдняго.

Не будемъ описывать длиннаго и безсвязнаго монолога, который говорилъ огорченный старикъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ и сверкала на его ръсинцахъ. Довольно: Максимъ Максимычъ и такъ уже весь передъ вами... Если-бы вы нашли его, познакомились съ нимъ, двадцать лѣтъ прожили съ нимъ въ одной крѣпости, и тогда-бы не знали лучше. Но мы больше уже пе увидимся съ нимъ, а опъ такъ интересенъ, такъ прекрасенъ, что грустно такъ скоро разстаться съ шимъ, и потому взглянемъ на него еще разъ, уже послѣдній...

Слъдують выписки изъ разговора автора «Бэлы» съ Максимомъ Максимычемъ о журпалъ Печорина, о передачъ этого журнала автору «Бэлы» и его прощаніи съ Максимомъ Максимычемъ.

Засимъ они довольно сухо разстались; но вы, любезный читатель, върно не сухо разстались съ этимъ старымъ младенцемъ, столь добрымъ, столь милымъ, столь человъчнымъ и столь неопытнымъ во всемъ, что выходило за тъсный кругозоръ его понятій и опытности? Не правда-ли, вы такъ свыклись съ нимъ, такъ полюбили его, что никогда уже не забудете его, и если встрътите подъ грубой наружностью, подъ корою зачерствълости отъ трудной и скудной жизни — горячее сердце, подъ простою, мъщанскою ръчью — теплоту души, то върно скажете: «это Максимъ Максимычъ»?... И дай Богъ вамъ поболъе встрътить на пути вашей жизни Максимъ Максимычей!...

И вотъ мы разсмотрѣли двѣ части романа— «Бэлу» и «Максима Максимыча»: каждая изъ пихъ имѣетъ свою особность и замкнутость, почему каж-

для и оставляеть въ душв читателя такое полное, цълостное и глубокое впечатлъніе. Героевъ и другой повъсти мы видъли въ торжественивниихъ положеніяхъ ихъ жизни и коротко ихъ знаемъ. Первал — повъсть; вторал — эскизъ характера, н каждая равно полна и удовлетворительна, ибо въ каждой поэтъ умълъ исчерпать все ея содержаніе и въ тиническихъ чертахъ вывести во вив все внутреннее, крывшееся въ ней какъ возможность. Что намъ за нужда, что во второй пътъ романическаго содержанія, что она представляеть собою не жизнь, а отрывокъ изъ жизни человъка? Но если въ этомъ отрывкъ — весь человъкъ, то чего-же больше. Поэтъ хотълъ изобразить характеръ и превосходно успълъ въ этомъ: его Максимъ Максимычь можеть употребляться не какъ собственное. по какъ наридательное имя, наравив съ Онвгиными, Ленскими, Загоръцкими, Иванами Ивановичами, Иванами Никифоровичами, Афанасіями Ивановичами, Чацкими, Фамусовыми, и пр. Мы познакомились съ нимъ еще въ «Бэлѣ» и больше уже не увидимся. Но въ объихъ этихъ повъстяхъ мы видъли еще одно лицо, съ которымъ однакожъ пезнакомы. Это таниственное лицо не есть герой этихъ повъстей. но безъ пего не было-бы этихъ повъстей: онъ герой романа, котораго эти двѣ повѣсти только части. Теперь пора намъ съ нимъ познакомиться, и уже не чрезъ посредство другихъ лицъ, какъ прежде, а чрезъ него-же самого: мы готовимся читать его записки.

Первое отдёленіе пазывается «Тамань» и, подобно первымъ двумъ, есть отдёльная повёсть. Хотя оно и представляеть собою эпизодъ изъ жизни героя романа, но герой по-прежнему остается для насъ лицомъ таинственнымъ.

Мы не рѣшились дѣлать выписокъ изъ этой новѣсти, потому что она рѣшительно не допускаетъ ихъ; это словно какое-то лирическое стихотвореніе,

вся прелесть котораго уничтожается однимъ выпущеннымъ или измѣненцымъ не рукою самого поэта стихомъ; она вся въ формъ; если выписывать, то должно-бы ее выписать всю отъ слова до слова; пересказываніе ея содержанія дасть о ней такое-же понятіе, какъ разсказъ, хотя-бы и восторженный, о красотъ женщины, которой вы сами не видъли. Повъсть эта отличается какимъ-то особеннымъ колоритомъ: несмотря на прозаическую дъйствительность ея содержанія, все въ ней таинственно, лица какія-то фантастическія тіни, мелькающія въ вечернемъ сумракъ, при свътъ зари или мъсяца. Особенно очаровательна девушка: это какая-то дикая, сверкающая красота, обольстительная, какъ сирена, пеуловимая, какъ ундина, страшная, какъ русалка, быстрая, какъ прелестная тёнь или волна, гибкал, какъ тростникъ. Ее нельзя любить, нельзя и пепавидѣть, но ее можно только и любить и непавидъть вмъстъ. Какъ чудно-хороша она, когда, на крышѣ своей кровли, съ распущенными волосами, защитивъ глаза ладонью, пристально всматривается вдаль, и то смъется и разсуждаеть сама съ собою, то запъваетъ полную раздолья и отваги удалую пъсню.

Что касается до героя романа—онъ и туть является тёмъ-же таниственнымъ лицомъ, какъ и въ первыхъ повъстяхъ. Вы видите человъка съ сильною волею, отважнаго, не блъднъющаго никакой опасности, напрашивающагося на бури и тревоги, чтобы заилть себя чъмъ-инбудь и наполнить бездошую пустоту своего духа, хотя-бы и дъятельностью безъ всякой цъли.

Наконець, воть и «Княжна Мери». Предисловіе нами прочитало, теперь начинается для насъ романь. Эта новѣсть разнообразиѣе и богаче всѣхъ другихъ своимъ содержаніемъ, но зато далеко устунаетъ имъ въ художественности формы. Характеры ея или очерки, или силуэты, и только развѣ одинъ—

10,00

портреть. Но что составляеть ен недостатокъ, то-же

самое есть и ея достоинство и наоборотъ.

Печоринъ въ Пятигорскъ, у Елисаветинскаго источника, сходится съ своимъ знакомымъ понкеромъ Грушницкимъ. По художественному выполненію, это лицо стоитъ Максима Максимыча; подобно ему, типъ, представитель цълаго разряда людей, OT6 имя нарицательное. Грушницкій — идеальный молодой человѣкъ, который щеголяеть своей идеальпостью, какъ записные франты щеголяють моднымъ платьемъ. а «львы» — ослиною глупостью. Онъ посить солдатскую шинель изъ толстаго сукна; у него георгіевскій солдатскій крестикъ. Ему очень хочется, чтобы его считали не юнкеромъ, а разжалованнымъ изъ офицеровъ: онъ находить это очень эффектнымъ и интереснымъ. Вообще «производить эффектъ» — его страсть. Онъ говорить вычурными фразами, — словомъ, это одинъ изъ тъхъ людей, которые особенно пленяють чувствительныхъ, романическихъ и романтическихъ провинціальныхъ барышень, одинъ изъ тъхъ людей, которыхъ, но прекрасному выражению автора записокъ, «не трогаетъ просто-прекрасное, и которые важно дранируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и неключительныя страданія». «Въ ихъ душъ, — прибавляетъ онъ, — часто много добрыхъ свойствъ, но им на грошъ поэзін». Но воть самая лучшая и полная характеристика такихъ людей, сдівланная авторомъ-же журнала: «подъ старость они дълаются либо мирными помъщиками, либо пьяшіцами, — ішогда тёмъ и другимъ». Мы къ этому очерку прибавимъ отъ себя только то, что онк страхъ какъ любятъ сочиненія Марлинскаго, и чуть зайдеть ръчь о предметахъ сколько-нибудь не житейскихъ, стараются говорить фразами изъ его повъстей. Теперь вы вполив знакомы съ Грунинцимъ. Онъ очень не долюбливаеть Печорица Вза Тол Игр Ттоти его понядъ. Печоринъ тоже не побитъ Грунинација P. C. 2 96.

и чувствуеть, что когда-цибудь они столкнутся, и одному изъ нихъ не сдобровать.

Слъдують пересказы: разговора Печорина съ Грушницкимъ и сцены у колодца, когда кияжна Мэри Лиговская поднимаеть съ земли уропенный Грушницкимъ стаканъ.

Изъ этого выходить цёлый рядъ смешныхъ сценъ, худо кончившихся для Грушищцкаго. ндеальничаетъ — Печоринъ надъ нимъ тѣшится. Онъ хочеть ему показать, что въ поступкъ кияжин не видить для Груншицкаго никакой причины къ восторгу или даже просто къ удовольствію. Печоринъ принисываеть это своей страсти къ противоръчи. говоря, что присутствіе энтузіазма обдаеть его крещенскимъ холодомъ, а частыя сношенія съ флегматикомъ могутъ сдълать его страстнымъ мечтателемъ. Напрасное обвинение! Такое чувство противоръчия понятно во всякомъ человъкъ съ глубокою душою. Дътская, а тъмъ болъе фальшивая пдеальность оскорбляеть чувство до того, что пріятно ув'ьрить себя на ту минуту, что совствить не имтешь чувства. Въ самомъ дълъ, лучше быть совсъмъ безъ чувства, нежели съ такимъ чувствомъ. Напротивъ, совершенное отсутствіе жизни въ человъкъ возбуждаетъ въ насъ невольное желаніе увъриться въ собственныхъ глазахъ, что мы непохожн на него, что въ насъ много жизии, и сообщаетъ намъ какую-то восторженность. Указываемъ на эту черту ложнаго самообвиненія въ характеръ Печорина, какъ на доказательство его противоръчія съ самимъ собою вследствие непонимания самого себя.

Теперь выходить на сцену новое лицо — медикъ Верперь. Въ беллетристическомъ смыслъ, это лицо превосходно, но въ художественномъ довольно блѣдно. Мы больше видимъ, что хотѣлъ сдѣлать изъ него поэтъ, нежели что онъ сдѣлалъ изъ него въ самомъ тълъ.

Слёдуеть пересказъ разговора Вернера съ Печоринымъ, изъ котораго выясияется, что Вернеръ видълъ у Лиговскихъ женщину, которую Печоринъ когда-то любилъ.

Оставшись наединъ, Печоринъ думаетъ о предстоящей встръчъ, которая безноконтъ его. Ясно, что его равнодушіе и иронія — больше свътская привычка, нежели черта характера. «Нътъ въ міръ человъка (говоритъ онъ), надъ которымъ-бы прошедшее пріобрътало такую власть, какъ надо мною. Всякое наноминаніе о минувшей печали или радости бользненно ударяетъ въ мою душу и извлекаетъ наъ нея все тъ-же звуки... Я глупо созданъ! инчего не забываю — инчего!»

Послъ этого Бълинскій пересказываеть съ выписками подлиниаго текста дальнойшее содержаніе повісти: свиданіе Печорина съ Върой и сцену спасенія Печоринымъ княжны Мэри на балу отъ пьянаго господина, а также разговора Печорина съ Мэри.

Этоть разговорь быль программою той продолжительной интриги, въ которой Печоринъ шралъ роль соблазнителя отъ нечего дълать; княжил какъ птичка, билась, въ сътяхъ, разставленныхъ испусною рукою, а Грушницкій по-прежнему продолжаль свою шутовскую роль. Чёмъ скучнёе и несносите становился онъ для княжны, тёмъ смёлёе становились его падежды. Въра безпокоилась и страдала, замъчая повыя отношенія Печорипа къ Мери; по при малъйшемъ укоръ или намент должна былъ умолкать, покоряясь его обаятельной власти, которую онъ такъ тиранически употреблялъ надъ нею. По что-же Печоринъ? неужели онъ полюбилъ княжну? — нътъ. Стало-быть, онъ хочеть обольстить се? — нътъ. Можетъ быть, жениться? — нътъ. Ботъ что онь самь говорить объ этомъ: «Я часто себя спраниваю, зачёмъ я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой девочки, которую обольстить я совсёмъ не хочу, и на которой никогда не женюсь? Къ чему это женское кокетство? В ра меня любить больше, чёмь княжна Мери будеть любить когда-нибудь; если-бъ она мив казалась непобъдимой красавицей, то, можеть быть, я-бы завлекся трудностью предпріятія... Изъ чего-же я хлопочу? изъ зависти къ Грушпицкому? Б раняжка! онъ вовсе ея пе заслуживаеть. Или это слёдствіе того сквернаго, но непобъдимаго чувства, которое заставляеть насъ умиожать сладкія заблужденія ближияго, чтобы им ть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаянін будеть спрашивать, чему онъ должень в ты видишь, однако, я объдаю, ужинаю и силю преспокойно, и, над вось, сум во умереть безъ крика и слезъ!»

Потомъ онъ продолжаетъ, — и тутъ особенно раскрывается его характеръ:

«А, въдь, есть необъятное наслаждение въ обладанін молодой, едва распустившейся душой! Опа какъ цвътокъ, котораго лучшій аромать испаряется навстръчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ ту минуту и, подышавъ имъ досыта, бросить на дорогъ: авось кто-инбудь подниметь! Я чувствую въ себъ ненасытную жадность, поглощающую все, что ветръчаю на своемъ пути, я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себъ какъ на пищу, поддерживающую мон душевныя силы. Самъ я больше не способенъ безумствовать подъ вліяніемъ страсти; честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ другомъ видъ, нбо честолюбіе есть ни что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе подчинять моей волъ все, что меня окружаеть; возбуждать къ себъ чувство любви, преданности и страха, не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Выть для кого-пибудь причиною страданій и радости, не имъя на то инкакого положительнаго права, не самая ли это сладкая нища нашей гордости? А что тагое счастіе? насыщенная гордость. Если бъ я почиталь себя лучше, могуществениве всвхъ на свътв,

я быль бы счастливь; если бъ всв меня любили, я въ себв нашель бы безконечные источники любии. Зло порождаеть зло; первое страданіе даеть понятіе объ удовольствіи мучить другого; идея зла не можеть войти въ голову человвка безъ того, чтобы онъ не захотвль приложить ее къ двйствительности; иден — созданія органическія, — сказаль кто-то, ихъ рожденіе даеть уже имъ форму, и эта форма есть двйствіе; тоть, въ чьей головв родилось больше идей, тоть больше другихъ двйствуеть; оть этого геній, прикованный къ чиповническому столу, долженъ умереть или сойти съ ума, точно такъ же, какъ человъкъ съ могучимъ твлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираеть отъ апоплексическаго удара».

Такъ вотъ причины, за которыя бѣдная Мери такъ дорого должна поплатиться!... Какой страшный человъкъ этотъ Печоринъ! Потому что его безпокойный духъ требуетъ движенія, дъятельность пщеть пици, сердце жаждеть интересовъ жизии. должна страдать бъдная дъвушка? «Эгонсть, злодъй, извергъ, безиравственный человѣкъ!»... хоромъ закричать, можеть быть, строгіе моралисты. Вашаправда, господа; но вы-то изъ чего хлопочете? за что сердитесь? Право, намъ кажется, вы принин не въ свое мъсто, сълн за столъ, за которымъ вамъ не поставлено прибора... Не подходите слишкомъ близко къ этому человъку, не нападайте на него съ такою запальчивою храбростью: онъ на васъ взглянеть, улыбнется, и вы будете осуждены, и на смущенныхъ лицахъ вашихъ все прочтуть судь вашь. Вы предаете его анаоемъ не за пороки, — въ васъ ихъ больше, и въ васъ они чериње и позориње, -- но за ту смълую свободу, за ту жёлчную откровенность, съ которою онъ говорить о нихъ. Вы позволяете человъку дълать все, что ему угодно, быть всемъ, чемъ онъ хочеть, вы охотно прощаете ему и безуміе, и инзость, и разврать; но, какъ пошлину за право торговли.

требуете отъ него моральныхъ сентепцій о томъ, какъ долженъ человъкъ думать и дъйствовать, и онъ въ самомъ-то дёлё и не думаетъ, и какъ не дѣйствуетъ... И за то инквизиторское ауто-да-фѐ готово для всякаго, кто имъетъ благородную привычку смотръть дъйствительности въ глаза, не опуская своихъ глазъ, называть вещи настоящими ихъ именами и неказывать другимъ себя не въ бальномъ костюмѣ, не въ мундирѣ, а въ халатѣ, въ своей комнать, въ усдиненной бесьдь съ самимъ собою, въ домашиемъ разсчетъ съ своею совъстью... И вы правы: покажитесь передъ людьми хоть разъ въ своемъ позорномъ неглиже, въ своихъ засаленныхъ ночныхъ колпакахъ, въ своихъ оборванныхъ халатахъ, люди съ отвращеніемъ отвернутся отъ васъ н общество извергнетъ васъ изъ себя. Но этому человъку нечего бояться: въ немъ есть тайное сознаніе, что онъ не то, чтиъ самому себт кажется, и что опъ есть только въ пастоящую минуту. Да, въ этомъ человъкъ есть сила духа и могущество воли, которыхъ въ васъ нътъ: въ самыхъ поропахъ его проблескиваетъ что-то великов, какъ молнія въ черныхъ тучахъ, и онъ прекрасенъ, подонъ поззін даже и въ тѣ минуты, когда чодовъческое чувство возстаетъ на него... Ему другое назначеніе, другой путь, чёмъ вамъ. Его страсти бури, очищающія сферу духа; его заблужденія. какъ ни страшны они, острыя болезии въ молодомъ тълъ, укръпляющія его на долгую и здоровую жизнь. Это лихорадки и горячки, а не подагра, не ревматизмъ и геморрой, которыми вы, бъдные. танъ безилодно страдаете... Пусть онъ клевещетъ на въчные законы разума, поставляя высшее счастье въ насыщенией гордости; пусть онъ клевещетъ на человъческую природу, видя въ ней одинъ эгонзмъ; пусть клевещетъ на самого себя, принимал моменты своего духа за его полное развитіе и емъщивая юность съ возмужалостью, — пусть...

Настанеть торжественная минута, и претиворжие разрышится, борьба кончится, и разрозненные звуки души сольются въ одинъ гармоническій аккордъ!... Даже и теперь онъ проговаривается и противоржить себф, уничтожая одною страницею всф предыдущія: такъ глубока его патура, такъ врождена ему разумность, такъ силенъ у него инстинктъ истины! Послущайте, что говорить онъ тотчасъ нослъ того м вста, которое вфроятно такъ возмущаетъ моралистовъ:

«Страсти не что иное, какъ иден при персомч. своемъ развитін: они принадлежность юпости сердии. и глупець тоть, кто думаеть ими цвлую жилилюбоваться: многія спокойныя ріки начинаются шумними водопадами, а ни одна не скачетъ и не изпится до самаго моря. Но это спокойствіе часто признакъ великой, хотя и скрытой сиды; полнота и глубина чувствъ и мыслей не допускаеть бёшенихъ порывовъ: душа, страдая и наслаждаясь, даеть во всемен себъ строгій отчеть и убъждается въ томъ, что такть должно; она знаеть, что безъ грозъ постоянный зного солнца ее изсушить, она пропикается своей собственно... жизнью, лелбеть и наказываеть себя, какъ люби со ребенка. Только въ этомъ высшемъ состоинін самонознанія человёкь можеть оцьнить правосудіе Божіе».

Но нока (прибавимъ мы отъ себя), нока человъкъ пе дошелъ до этого высшаго состоянія самопознапія — если ему назначено дойти до него, — онъ долженъ страдать отъ другихъ и заставлять страдать другихъ, возставать и падать, падать и возставать, отъ заблужденія переходить къ заблужденію и отъ истины къ истинъ. Веф эти отступленія суть необходимые маневры въ сферф сознанія; чтобы дойти до мъста, часто издо дать большой кругъ, совершить длинный обходъ, ворочаться съ дороги назадъ. Царство истины естуобътованная земля, и путь къ ней — аравійства

пустыня. Но, скажете вы, за что-же другіе должны гибнуть отъ такихъ страстей и ошибокъ? А развѣ мы сами не гибнемъ иногда какъ отъ собственныхъ, такъ и отъ чужихъ? Кто вышелъ изъ горнила испытаній чисть и світель какь золото, натура того — благородный металлъ; кто сгорълъ или не очистился, натура того — дерево или жельзо. И если многія благородныя натуры ногибають жертвами случайности, разръшение на этотъ вопросъ даетъ религія. Для насъ ясно и положительно одно: безъ бурь нътъ плодородія, и природа изнываеть; безъ страстей и противоръчій ивть жизни, ивть поэзіи. Лишь-бы только въ этихъ страстяхъ и противоръчіяхъ была разумность и человъчность, и ихъ результаты вели-бы человъка къ его цъли, — а судъ принадлежить не намъ: для каждаго человъка судъ въ его дёлахъ и ихъ слёдствіяхъ! Мы должны требовать отъ искусства, чтобы оно показывало намъ дъйствительность, какъ она есть, ибо, какова-бы она ни была, эта дъйствительность, она больше скажеть намъ, больше научить насъ, чъмъ вст выдумки и поученія моралистовъ...

Но, скажуть, можеть быть, резонеры, — зачёмъ рисовать картины возмутительныхъ страстей вийсто того, чтобы пленять воображение изображениемъ кроткихъ чувствованій природы и любви, и трогать сердце и поучать умъ? — Старая пъсня, господа. такъ-же старал, какъ и «Выйду-ль я на рфченьку. посмотрю на быструю!»... Литература восемнадцатаго въка была по преимуществу моральною и разсуждающею, въ ней не было другихъ повъстей, какъ contes moraux и contes philosophiques; однакожъ эти нравственныя и философскія книги инкого не неправили, и въкъ былъ все-таки по преимуществу безправственнымъ и развратнымъ. И это протигоръчіе очень понятно. Законы правственности въ натуръ человѣка, въ его чувствѣ, и потому они не противоръчать его дъламъ; а кто чувствуетъ и поступаетъ

сообразно съ своимъ чувствомъ, тотъ мало говоритъ. Разумъ не сочиняетъ, не выдумываетъ законовъ нравственности, но только сознаеть ихъ, принимая нхъ оть чувства какъ данныя, какъ факты. И потому чувство и разумъ суть не противоръчащіе, не враждебные другь другу, по родственные или, лучие сказать, тождественные элементы духа человъческаго. Но когда человъку или отказано природою въ нравственномъ чувствъ, или оно испорчено дурнымъ воспитаніемъ. безпорядочною жизнью, тогда его разсудокъ изобрътаетъ свои законы нравственности. Говоримъ: разсудокъ, а не разумъ, ибо разумъ есть сознавшее собя чувство, которое даетъ ему въ себъ предметъ и содержание для мышления; а разсудокъ, лишенный действительнаго содержанія, по необходимости прибъгаетъ къ произвольнымъ построеніямъ. Вотъ происхожденіе морали, и вотъ причина противоръчія между словами и поступками записныхъ моралистовъ. Для нихъ дъйствительность ничего не значить: они не обращають никакого вичманія на то, что есть, и не предчувствують его необходимости; они хлопочуть только о томъ, что и какъ должно быть. Это ложное философское начало породило и ложное некусство еще задолго до XVIII въка, — искусство, которое изображало какую-то небывалую действительность, создавало какихъ-то небывалыхъ людей. Въ самомъ дёль, пеужели мъсто дъйствія Корнелевскихъ и Расиновскихъ трагедій — земля, а не воздухъ, ихъ дъйствующія лица — люди, а не маріонетки? Принадлежать - ли оти рыцари, герои, наперспики и въстники какому-нибудь въку, какой-нибудь страпъ? говорилъ-ли кто-нибудь отъ созданія языкомъ, нохожимъ на ихъ языкъ?... Восемнадцатый въкъ. довель это разсудочное искусство до последники. предбловъ нельности; онъ только о томъ и хлопоталъ, чтобы искусство шло навыворотъ дъйствительности, и сдёлаль изъ нея мечту, которая и

въ нѣкоторыхъ добрыкъ старичкахъ нашего вр - мени еще находитъ своихъ магическихъ витари

Нашъ въкъ гнущается этимъ лицемфретвомъ. Онъ громко говорить о своихъ грахахъ, но не гордится ими; обнажаеть свои кровавыя раны, а не прячеть ихъ нодъ пищенскими лохмотьями притворства. Опъ поняль, что сознание своей граховности есть первый шагъ къ спасенію. Онъ знаеть, что дійствительное страданіе лучше мнимой радости... Для него польза и правственность только въ одной пстинъ, а истина — въ сущемъ, т.-е. въ томъ, что есть. Потому и искусство нашего въка есть воспроизведеніе разумной действительности. Задача нашего искусства — не представить событія въ повъсти, романъ или драмъ, сообразно съ предположенною заранте цтлью, но развить ихъ сообразно съ законами разумной необходимости. И въ такомъ случав, каково-бы ни было содержание поэтическаго произведенія, его впечатлівніе на душу читателя будеть благодатно, и, следовательно, правственная цъль достигнется сама собою. Намъ скажуть, что безправственно представлять непаказаннымъ и торжествующимъ порокъ: мы противъ этого и не споримъ. Но и въ дъйствительности порокъ торжествуеть только вившнимъ образомъ: онъ въ самомъ себъ носить свое наказаніе и гордою улыбкою только подавляеть внутреннее терзаніе. Такъ точно и новъйшее искусство: оно показываеть, что судъ человъка — въ дълахъ его; оно, какъ необходимость, допускаеть въ себъ диссопансы, производимые въ гармонін правственнаго духа, но для того, чтобы показать, какъ изъ диссонанса снова возникаетъ гармонія, — черезъ то-ли, что раззвучная струна снова настроивается, или разрывается вследствіе ея своевольнаго разлада. Это міровой законъ жизни, а, следовательно, и искусства. Вотъ другое дело, если поэтъ захочетъ въ своемъ произведении доказать, что результаты добра и зла одинаковы

для людей, — оно будеть безиравственно, но когда уже оно и не будеть произведеніемъ искусства, — и какъ крайности сходятся, то оно, вмѣстѣ съ моральными произведеніями, составить одинь общій разрядь непоэтическихъ произведеній, писанныхъ съ опредѣленною цѣлью. Далѣе мы изъ самаго разбираемаго нами сочиненія докажемъ, что оно не принадлежить ни къ тѣмъ, ни къ другимъ, и въ основаніи своемъ глубоко-правственно.

Обращаясь къ «Княжий Мэри», Бѣлинскій пересказываеть разсказъ Лермонтова о повздкі къ провалу на гулянье и цитируеть слідующія слова Печорина княжив:

«Всъ читали на моемъ лицъ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было, но ихъ предполагали н они родились. Я былъ скроменъ — меня обвиняли въ лукавствъ; я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло; никто меня не ласкалъ, всв оскорбляли — я сталь злопамятень; я быль угрюмь другія діти были веселы и болтиным; я чукствоваль себя выше ихъ — меня ставили инже: я сдълался завистиивъ. Я былъ готовъ любить весь міръ, — меня никто не поняль, и я выучился ненавидеть. Мо:. безцвътная молодость протекана въ борьбъ съ собой и свътомъ; лучшія мон чувства, боясь насмешки, я хорониль въ глубинъ сердца; опи тамъ и умерли. Я говорилъ правду — мив не върили: я началъ обманывать; узнавъ хорошо свъть и пружины общества, я сталь искусень въ наукъ жизии и видъ ъ. какъ другіе безъ искусства счастливы, пользулсь даромъ тъми выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчание,не то отчаяніе, которое лічать дуломь пистолета, но холодное, безсильное отчание, прикрытое любезпостью и добродушною улыбной; я сдълался прадственнымъ калткой: одна половина души моей по существовала, она высохла, умерла, я ее отръзалъ н бросиль, тогда какъ другая шевелилась и жила къ услугамъ наждаго, и этого плито не замътилъ, потому что никто не знать о существованіи погибшей ся половины; но вы теперь во мив разбудили восноминание

о ней, и я вамъ прочеть ея энитафію. Многимъ всв вообще энитафін кажутся смінными, но мий піть, особенно когда вспомню, что подъ ними поконтся. Впрочемь я не прошу вась разділять мое мибніе: емінтесь — предупреждаю вась, что это меня не огорчить ни мало».

11

В

7

11

 $\Pi$ 

U

Ú

K

M

1)

X

C

C

])

C

B

П

C

 $\Pi$ 

Л

P

B

D

H

II

ų

B

K

p

Отъ души-ли говорилъ это Печоринъ, или притверялся? — Трудио решить определительно: кажется, что туть было и то, и другое. Люди, которые въчно находятся въ борьбъ съ внъшиныть міромъ и съ самими собою, всегда недопольны, всегда огорчены и желчны. Огорчение есть постоянная форма нхъ бытіл, и что-бы ни поналось имъ на глаза, все служить имъ содержаність для этой формы. Мало того, что они хороню помнять свои истиниля страданія, — они еще пенстощимы въ выдумыванін пебывалыхъ. Вздумайте ихъ утъщить — они разсердятся; покажите имъ причины ихъ горестей въ настоящемъ ихъ свътъ — они оскорбятся. Помогите имъ бранить самихъ себя, взведите на инхъ перывалыя обиды жизип, отыщите перывалые педостатки и пороки въ ихъ характерѣ — вы польстите имъ и выиграете ихъ расположение. Если вы попадете на человѣка недостаточно глубокаго и сильнаго, — будьте осторожны: вы можете или оскорбить его самолюбіе такъ, что возбудите къ себъ его пенависть, или убить въ немъ всякую увъренность въ себъ и возродить отчалије, — и тогда вамъ предстоить горькая и мучительно-скучная роль утвшителя и повъреннаго однъхъ и тъхъ-же жалобъ. Если-же это человѣкъ глубокій и сильный, — не бойтесь слишкомъ далеко зайти въ нападкахъ на него и на жизнь: у него есть лазеечка изъ этой западни: «и дуренъ, но въдь и всъ таковы». А вы знаете, что, по пословицѣ, при людяхъ и смерть не страшна, и какъ-бы вы ни представлялись себъ дурнымъ, но если и лучий изъ людей не лучие васъ,—

CB.

Ъ,

я. e:

чаше самолюбіе снасено. И вотъ почему такіе люди гакъ пеистощимы въ самообвиненін: оно обращается имъ въ привычку. Обманывая другихъ, они прежде всего обманывають себя. Истишая или ложная причина ихъ жалобъ, -- имъ все равно, и желчная горесть ихъ равно искренна и непритворна. Мало того: начиная драть съ сознаніемъ или начиная шутить, - оши продолжають и оканчивають искренно. Они сами не знають, когда лгуть и когда говорять правду, когда слова ихъ — вопль души, или когда они — фразы. Это дълается у нихъ висстъ бользнью души, и привычкою, и безумствомъ, и кокетничальемъ. Во всей выходит Печорина вы замвчаете, что у него страждеть самолюбіе; отчего родилось у него отчаяніе? — Видите-ли: онъ узпаль хорошо свёть и пружины общества, сталь искусенъ въ наукъ и видълъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ теми выгодами, которыхъ онъ такъ неутомимо добивался. Какое мелкое восклицаете вы. Но не торонитесь самолюбіе! ващимъ приговоромъ: онъ клевещеть на себя: повърьте мнъ, онъ и даромъ-бы не взялъ того счастья, которому завидоваль у этихъ другихъ и котораго добивался. Но княжий отъ этого не легче: она все припяла за наличную монету. Печоринъ не ошибся, сказавъ, что въ немъ два человъка: въ то время, какъ одинъ такъ горько жаливался ин на что, другой наблюдаль и за инмъ, и за княжной, и воть что замътиль за послъднею:

«Въ эту минуту я встрётиль ея глаза: въ нихъ бёгали слези; рука ея, опираясь на мою, дрожала, щеки пылали: ей было жаль меня! — Состраданіе, чувство, которому покоряются такъ легко всё женщини, впустило свои когти въ ея пеопытное сердце. Во все время прогулки она была разсёянна, ни съ кёмъ не кокетинчала, — а это великій признакъ...»

Бъдная Мери! Какъ систематически, съ какою разсчитанною тонкостью ведеть ее злой духъ по пути

погибели! Подошедши къ провалу, всъ дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не оставляла руку Печорина; остроты тамошнихъ денди не смѣшили ел; крутизна обрыва, у котораго она стояла, не пугала ее, тогда какъ другія барышни пищали и закрывали глаза. На возвратномъ пути она была разсъянна, грустна. «Любили-ли вы?» спросилъ ее Печоринъ; она пристально на него посмотрѣла, покачала головой и снова задумалась... Казалось, что-то хотълось сказать, но она не знала, съ чего начать; грудь ея волновалась. — «Не правда-ли. я была сегодня очень любезна?» — сказала она, при разставаньи, съ принужденною улыбкою. Печоринъ, вмѣсто ея, отвѣтилъ самому себѣ: «Она недовольна собой, она себя обвиняеть въ холодности... о, это первое, главное торжество! Завтра она захочеть вознаградить меня. Я все это ужъ знаю наизусть — воть что скучно!» — Бѣдная Мери!...

Бълинскій передаеть здёсь дальнейшее содержаніе пов'єсти и въ томъ числё насмешки Печорина надъ Грушницкимъ на балу.

Печоринъ достигъ своей цёли: Грушницкій отошель отъ него съ чёмъ-то въ родё угрозы. Это его радовало и забавляло, но что-же за радость бёсить добраго, пустого малаго, и для этого играть обдуманную роль, дёйствовать по обдуманному плану? Что это: слёдствіе праздности ума. или мелкости души? Воть что думаль объ этомъ онъ самъ, сбираясь на балъ:

«Я шель медленно; мив было грустно... Неужели,—
думаль я, — мое единственное назначение — разрушать
чужия надежды? Съ твхъ норъ, какъ я живу и дъйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня къ
развизкъ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня инкто
не могъ бы ни умереть, ни прийти въ отчание! Я
быль необходимое лицо интаго акта; невольно я
разыгрывалъ роль палача или предателя. Какую цъль
имъла на это судьба?... Ужъ не назначенъ ли я ею
въ сочинители мъщанскихъ трагедій и семейныхъ

романовъ, или въ сотрудники сочинителю повъстей напримъръ, для «Вибліотеки для Чтенію»?... Почему знать?... Мало ли людей, начинал жизнь, думают пончить се, какъ Александръ Великій или лорду Байронъ, а между тъмъ цълый въкъ остантся титулярными совътниками».

Мы нарочно выписали это мъсто, какъ одну изъ самыхъ характерныхъ чертъ двойственности Печорина. Въ самомъ деле, въ немъ два человѣка: первый дѣйствуетъ, второй смотритъ на дѣйствія перваго и разсуждаеть о нихъ или, лучше сназать, осуждаеть ихъ, потому что они дъйствительно достойны осужденія. Причины этого раздвоенія, этой ссоры съ самимъ собою, очень глубоки, и въ нихъ-же заключается противордије между глубокостью натуры и жалкостью действій одного и того-же человѣка. Ниже мы коспемся этихъ причинъ, а пока замътимъ только, что Печоринъ, ошибочно дъйствуя, еще ошибочиве судитъ себя. Онъ смотрить на себя, какъ на человъка. вполнъ развившагося и опредълнвшагося: удивительно-ли, что и его взглядъ на человъка вообще мраченъ, жёлченъ и ложенъ?... Онъ какъ-будто не знаеть, что есть эпоха въ жизни человъка, когда ему досадно, зачёмъ дуракъ глупъ, подлецъ низокъ, зачёмъ толпа пошла, зачёмъ на сотню пустыхъ людей едва встретишь одного порядочнаго человѣка... Онъ какъ-будто не знаетъ, что есть такія пылкія и сплыныя души, которыя въ эту эпоху своей жизни находять неизъяснимое наслажденіе въ сознаніи своего превосходства, мстять посредственности за ея ничтожность, вмъшиваются въ ея разсчеты и дѣла, чтобы мѣшать ей, разоушая ихъ... Но еще болѣе, опъ какъ-будто-бы не знаетъ, что для нихъ приходитъ другая эпоха жизни — результатъ первой, когда они или равнодушно на все смотрять, не сочувствуя добру, не оскорбляясь зломъ, или увфряются, что въ жизни

и эло необходимо, какъ и добро, что въ армін общества человѣческаго рядовыхъ всегда должно быть больше, чѣмъ офицеровъ, что глупость должна быть глупа, потому что она глупость, а подлость нодла, потому что она подлость, и они оставляютъ ихъ идти своею дорогою, если не видятъ отъ нихъ зла, или не видятъ возможности помѣшать ему, и повторяютъ про себя то съ радостью, то съ грустною улыбкою: «и все то благо, все добро!» Увы, какъ дорого достается уразумѣніе самыхъ простыхъ истипъ!... Печоринъ еще не знаетъ этого, и именно потому, что думаетъ, что все знаетъ.

Съ этого времени исторія круто поворотилась, и изъ комической начала переходить въ трагическую. Доселѣ Печоринъ сѣялъ — теперь пастаетъ время пожинать ему плоды посѣяннаго. Мы думаемъ, что въ этомъ и должна заключаться истиная нравственность поэтическаго произведенія, а не въ пошлыхъ сентенціяхъ.

Грушницкій, наконецъ, понялъ, что опъ одураченъ, но вмъсто того, чтобы въ самомъ себъ увидёть причину своего позора, онъ увидёль ее въ Печоринъ. Къ нему присталъ драгунскій капитанъ и всѣ другіе, которыхъ оскорбляло превосходство Печорина, — и противъ Печорина начала составляться враждебная партія; но онъ не испугался, а обрадовался этому, увидъвъ новую пищу для своей праздной дъятельности... «Очень радъ, я люблю враговъ, хотя не по-христіански. меня забавляють, волнують мив кровь. Быть всегда на стражъ, ловить каждый взглядъ, значение каждаго слова, угадывать намфреніе, притворяться обманутымъ, и вдругъ однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе ихъ хитростей и замысловъ — вотъ что я называю жизнью!» — Ошибочное название! — восклицаете вы, — и мы согласны съ вами; но сила всегда останется силою, и всегда будеть полна ноэзін, всегда будеть восхищать и удивлять вась, хотя-бы она дѣйствовала и деревящымъ мечомъ, вмѣсто булатнаго... Есть моди, въ рукахъ которыхъ и простая налка онасиѣе, чѣмъ у иныхъ шнага: Печоринъ изъ такихъ людей...

другой день Въра увхала сь мужемъ въ Кисловодскъ. Печоринъ вищить ее самое въ причинъ ея жалобъ на него: она отказываеть ему въ свиданіи наединъ. «Авось — говорить онъ ревность сделаеть то, чего не могли мон просьбы». Вечеромъ онъ заходиль къ Лиговскимъ и не видалъ княжны, — она больна. Возвратясь домой, онъ замътилъ, что ему чего-то недостаетъ. «Я не видалъ ея! Она больпа! Ужъ не влюбился-ли я въ самомъ дълъ?... Какой вздоръ!» — Видите-ли: какъ увлекательна эта игра въ увлечение, какъ легко, увлекая другихъ, увлечься и самому?... Какъ ни старается Печоринъ выставить себя холодиымъ обольстителемъ безъ всякой цёли, отъ нечего дёлать, однако для насъ его холодность очень подозрительна. Конечно, это еще не любовь, но вёдь трудно разбирать и различать свои ощущенія: собственное сердце всякаго есть самый извилистый, самый темный лабиринтъ... На другой день онъ засталъ ее одну. Опа была блёдна и задумчива. «Вы па меня сердитесь?» Она заплакала и закрыла лицо руками. съ вами?» — «Вы меня не уважаете!...» отвъчала она. Онъ ей сказаль что-то въ родъ извинения и тщеславной загадки насчеть своего характера и вышель; но, уходя, слышаль, какь она плакала. Бъдная дъвушка! стръла такъ глубоко вошла въ ея сердце, что дёло не можетъ кончиться хорошо!... Въ тотъ-же день Печоринъ узналь отъ Вериера, что ходять слухи, будто онъ женится на кияжив...

Наконецъ, дъйствіе перепосится въ Кисловодскъ. Однажды многочисленная каналькада отправилась смотръть Гольцо — скалу, образующую ворота, верстахъ въ трехъ отъ Кисловодска. Когда, ит возвратночъ пути, перетажали черезъ Подкумокъ, у кияшим

закружинась голова, оттого что она смотрѣла въ воду. — «Миѣ дурно!» — проговорила она слабымъ голосомъ. Печоринъ обвилъ рукою ея гибкій станъ, щека ея почти касалась его щеки, отъ нея вѣяло пламенемъ... «Что вы со мной дѣлаете? Боже мой!...» говорила она; по онъ не обращалъ вниманія на ея слова — и губы его коснулись ея щеки... Выѣхавъ на берегъ, всѣ пустились рысью, княжна пріостановила свою лошадь, и они опять поѣхали позади всѣхъ. Послѣ долгаго молчанія, умышленнаго со стороны Печорина, она, наконецъ, сказала голосомъ, въ которомъ были слезы:

«Или вы меня презираете, или очень любите! Можеть быть, вы хотите посм'вяться надо мною, возмутить мою душу и потомъ оставить... Это было бы такъ подло, такъ низко, что одно предположеніе... О, нѣть! не правда ли, — прибавила она голосомъ нѣжной довъренности: — не правда ли, во мнъ нѣтъ ничего такого, что бы исключало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ... я должна вамъ его простить, потому что позволила... Отвѣчайте, говорите же; я хочу слыщать вашъ голосъ!

Въ послъднихъ словахъ было такое женское петеритне, что я невольно улыбнулся, къ счастью начи-

нало смеркаться... Я ничего не отвъчалъ.

— Вы молчите? — продолжала она; — вы, можеть быть, хотите, чтобы я первая сказала вамь, что я вась люблю?...

Я молчалъ.

— Хотите ли этого? — продолжала она, быстро обратись ко мив... Въ ръшительности ея взора и голоса было что-то страшное...

— Зачвиъ? — отвъчалъ я, пожавъ плечами.

Она ударила хлыстомъ свою лошадь и пустилась во весь духъ по узкой, опасной дорогв; это произошло такъ скоро, что я едва могь ее догнать, и то, когда ужъ опа присоединилась къ остальному обществу. До самаго дома она говорила и смълмась поминутно; въ ея денженіяхъ было что-то михорадочноо; на меня не взгланула ни разу. Всв заміжная эту необыки ченную веселость. И княгиня впутренно

радовалась, глядя на свою дочку, а у дочки просто нервическій припадокь: она проведеть почь безь сна и будеть плакать. Эта мысль мий доставляеть пеобъятное наслажденіе: есть минуты, когда я понимаю Ваминра!... а еще слыву добрымь малымь и добиваюсь этого названія».

Что такое вся эта сцена? Мы понимаемъ ее только какъ свидътельство, до какой степени ожесточенія и безиравственности можеть довести человітка візное противорізніе съ самимъ собою, візню неудовлетворяемая жажда истинной жизни, истиннаго блаженства; но послідней черты ся мы різшительно не понимаемъ... Она кажется намъ преувеличеніемъ, умышленною клеветою на самого себя, чертою изысканною и натянутою, — словомъ, намъ кажется, что здісь Печоринъ впаль въ Грушницкаго, хотя и боліве страшнаго, чіть смітиного... И. еслимы не ошибаемся въ своемъ заключеній, это очень понятно: состояніе противорізчія съ самимъ собою необходимо условливаетъ большую или меньшую изысканность и натянутость въ ноложеніяхъ...

По утру Печоринъ встрѣтилъ кияжиу у колодца. Это свиданіе было страшною развязкою пустой и шичтожной драмы, которая предшествовала другой драмѣ, не менѣе пустой и шичтожной въ сущности, но еще съ болѣе страшною развязкою.

- «— Вы больны? сказала она, пристально посмотръвъ на меня.
  - Я пе спалъ почь.
- И я также... я васъ обвиняла... можеть быть напрасно? Но объяснитесь, я могу вамъ простить все...
  - Все ли?

бла

DI B

HЪ,

OLF

же

пія

ī...

на

HL

en-

па

re!

MO.

бы

...

МЪ

dть dil

гь,

te;

-9E

III-

TB

.СЪ

ogr

H

СЪ

10-

 $\Pi$ 

Vi

CЪ

121 -

4.1

HO

— Все... только говорите правду... только скоръе... Видите ли, я много думала, стараясь объясинть, оправдать ваше поведение: можеть быть, вы бонтесь препятствий со стороны моихъ родныхъ... это ничего: когда они узнають... (ея голосъ задроясалъ) я ихъ упрошу. Или ваше собственное положеніе... но знайте, что я всёмъ могу пожертвовать для того, котораго люблю... О, отвёчайте скорбе, сжальтесь: вы меня не презпраете; не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня щла впереди насъ съ мужемъ Въры, и ничего не видала, но насъ могли видъть гуллюще больные, самые любопытные сплетники изъ всъхъ любопытныхъ, и я быстро освободилъ свою руку отъ ея страстнаго пожатія.

— Я вамъ скажу всю истину, — отвъчалъ я княжив: не буду оправдываться, ни объяснять своихъ

поступковъ: я васъ не люблю.

Ен губы слегка поблъдивли... — Оставьте меня: спарада она едра внятно... Я пожалъ плечами. повернулся и ушелъ».

На этоть разъ Печоринъ списходительнъе къ намъ: онъ приподиялъ таинственное подрывало, поторыть облекь свое сатаниское велый, очень просто, хоти и прекрасного прозою, объясилиз причину этой сцены, какъ-бы желая оправдаться въ ней. Онъ говорить, что какъ-бы страстно ин любиль онъ женидну, но какъ слоро она дасть ему почувствовать, что онъ долженъ на ней женитьсяпрости любовь!... Этоть страхъ лишиться постылой и ин для чего ненужной ему свободы опъ принисываеть предсказанію старушки, которая, когда еще онъ быль ребенкомъ, гадала про него его матери и предрекла ему смерть отъ злой жены... Ивтъ, это все не то!... Печоринъ не любиль килжны: сив оскорбиль-бы самого себя, если-бы назваль любовью легонькое чувство, возбужденное его собственнымъ кокетствомъ и самолюбіемъ. Потомъ: бракъ есть дъйствительность любви. Любить истинно можеть только вполив созрввшая душа, и въ такомъ случать любовь видить въ бракт свою высочайщую паграду и, при блескъ вънца, не блекиеть, а пышите распускаеть свой ароматный цвтть, какъ при лучахъ солнца... Всякое чувство дъйствительно въ отношенін къ самому себъ, какъ выраженіе момен-

тальнаго состоянія духа: и первая любовь едва проснувшейся для жизни души отрока имбеть свою поэзію и истину; но, будучи д'виствительна по своей сущности, она совершенно призрачна по своей формы, н въ сравненій съ любовью возмужат : челов'вка есть то-же, что первое безсвязное лен тапіе младонца въ сравнении съ резульно глявно муже. Эте больше потребность поботи, чтыть самая побовы. и потому она обращается на первый предметь, способный поразить опуть фантазію истиннямъ или мининыть сходот онг ст ен идеаломъ, и такъ-же скоро погасаеть, ит в и веныхиваеть. Такай любом можетъ чисто разъ повториться въ жизни человъка; она или испавидить бракъ и отвращается его, каз в иден, профанирующей ея идеальность, или предстагляеть его высочайшимъ блаженствома и стремится къ нему только до тъхъ поръ, пока енъ не продета от в къ ней съ своимъ строгот. ытукит ить, и довърчло-суровымъ вкоромъ: четдо балая мобовь потупляеть передъ нимъ своя глама, галь ребенокъ, застигнутый въ шалости строничъ гувернеромъ... Да, брамъ есть гибель такой любия, л вотъ почему такъ много бываетъ «несчастныхъ браковъ но любви»... Только дъйствительное чун- 2 ство не боится своего осуществленія, не тренещеть своей повърки; только дъйствительность субло смотритъ въ глаза дъйствительности, пе потуиляя своихъ глазъ... И неужели Печоринъ, этотъ человъкъ, столь глубокій и могучій, могъ почесть свое чувство въ княжит действительнымъ и удивиться. что ея намекъ о бракъ такъ-же легко уничтожилъ его чувство, какъ видъ лозы уничтожаетъ резвость ребенка?... Ифтъ, изъ всего этого опять-таки видно только одно, что Печоринъ еще рано почелъ себя донившимъ до дна чашу жизии, тогда какт, еще не сдуль порядочно кипящей пъны... Повторяемъ: опъ еще не знаетъ самого себя. если не должно ему върнть, когда онъ оправдываетъ

R

себя или приписываеть себъ разныя нечеловъческія свойства и пороки, то винить-ли его за это? — Вишите, если въ глазахъ ващихъ юноша виноватъ тъмъ, что онъ молодъ, а старецъ тъмъ, что онъ старъ! Есть люди, въ которыхъ потребность жизни такъ сильна, что составляетъ ихъ мучение до тъхъ поръ, пока не удовлетворится, - и есть люди, которые долго живутъ и умпраютъ неудовлетворенные. нбо действительны только потребности, а удовлетвореніе всегда зависить отъ случая, который такъ-же можеть сбыться, какъ и можеть не сбыться. И воть когда такіе люди бросаются всюду, ища удовлетворенія, и не находять его, - ихъ отчаяніе порождаеть клеветы на въчные законы разумной действительности; но они правы предъ самими собою въ этихъ клеветахъ, котя и неправы передъ дъйствительностью. Можно-ли винить ихъ за несчастіе? Можно-ли винить ихъ за то, что они съ такою жадностью бросаются на все, что волнуеть душу призраками блаженства? Не всв-же родятся съ этимъ анатическимъ благоразуміемъ, источникъ котораго гиплая и мертвая натура...

Бълнискій снова возвращается къ содержанію повісти, т. е. прівзду фокусника, свиданію Печорина съ Върой и останавливается на томъ моментъ, когда Печеринъ заглянулъ въ окно компати княжни и увидаль ее:

«Мери сидъла на своей постели, скрестивъ на колъняхъ руки; ея густые волосы были собраны подъ почнымъ чепчикомъ, общитымъ кружевами; больнюй пунцовый платокъ покрывалъ ея бълыя плечики, и маленькая ножка пряталась въ пестрыхъ перендскихъ туфляхъ. Она сидъла неподвижно, опустивъ голову на грудь; передъ нею на столикъ была открыта книга, но глаза ея, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, въ сотый разъ пробъгали одну и ту же страницу, тогда какъ мысли ея были далеко...»

Какъ много говорять эти немногія и простыя

строки! Какую длинную и мучительную повъсть оскорбленнаго женскаго достоинства, оскорбленной женской любви, затаенныхъ страданій и холодножгучаго отчаянія разсказываютъ онъ!... Бъдная Мери!...

Слудуеть пересказь дальнуйшаго содержанія повісти. Печоринь вызваль Грушницкаго на дуэль.

Вечеромъ къ Печорину приходилъ лакей съ приглашеніемъ отъ княгини, но опъ сказался больнымъ. Всю почь онъ не сналъ, въ головъ его пробъгали мысли за мыслями. Отъ угрозъ Грушницкому, котораго онъ почиталъ вфрною жертвою своею, онъ перешелъ къ мысли о непостоянствъ счастья, которое доселѣ неизмѣщно служило ему. «Что-жъ, — думалъ онъ, -- умереть, такъ умереть! потеря для міра небольшая; да и мив самому порядочно ужъ скучно. Я — какъ человѣкъ, зѣвающій на балѣ, который не вдеть спать только потому, что еще ивть его кареты. Но карета готова... Прощайте!...» Затъмъ онъ обращается на всю жизнь свою, и ему невольно приходить въ голову вопросъ о цёли его жизни. «Зачъмъ я жилъ? для какой цъли я родился? А върно она существовала, и върно было мив назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душт моей силы необъятныя... Но я не угадаль этого назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ гориила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ, какъ желъзо, но утратилъ навъки пылъ благородныхъ стремленій — лучшій цвъть жизни!...»

Поучительна нѣмая бесѣда съ самимъ собою человѣка, который завтра готовится быть или убитымъ, или убищею?... Мысль невольно обращается на себя, и сквозь мглу предразсужденій и умышленныхъ собизмовъ блестить лучъ ужасной истины... Но рѣменіе принято, шагъ сдѣланъ, и возврата иѣтъ: само общество, которое смотритъ на кровавыя сдѣлки, какъ па безиравственность, само общество, противорѣча себѣ, запрещаетъ этотъ возвратъ

своимъ насмѣшливо-презрительнымъ взглядомъ, своимъ педвижно-остановившимся на жертвъ перстомъ... Кровавая развязка дёла доставляеть ему средства читать себъ для другихъ правоученія, произнести ближнему приговоръ и надавать ему позднихъ совътовъ; отступление лишаетъ его занимательнаго анекдота, прекраснаго случая къ развлеченію на чужой счеть. Что-жь туть дёлать? разумёется, идти впередъ, а чтобы вниканіе въ себя и въ сущность дъла не лишило смълости, закрыть глаза на истину, и объими руками ухватиться за первый представившійся софизмъ, котораго ложность самому очевидна. Нечоринъ такъ и сделалъ; опъ решилъ, что не стоить труда жить, и онь правъ передъ собою, или по крайней мъръ не виновать передъ тъми строгими судьями чужихъ поступковъ, которые сами не участвують въ жизни, но на живущихъ смотрятъ, какъ зрители на актеровъ, то апплодируя, то шикая...

Несмотря на тайное безпокойство, мучившее Печорина, онъ не только имълъ силы заставить себя взяться за романъ Вальтеръ-Скотта «Шотландскіе Пурнтане», по еще и увлечься волщебнымъ

вымысломъ.

Когда разсвёло, онъ посмотрёлся въ зеркало: тусклая блёдность покрывала лицо его, храшившее слёды мучительной безсоницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тёнью, блистали гордо и неумолимо. «Я, говориль онъ, остался доволень собою». Купанье въ Нарзанё сдёлало его совершенно свёжимъ и бодрымъ. Возвратясь съ купанья, онъ нашелъ у себя Вернера. Они сёли на лошадей и ноёхали. Туть слёдуетъ мимоходомъ краткое, иэлное поэзіи описаніе прекраснаго кавказскаго утра.

Опи фхали молча.

— Нътъ.

<sup>—</sup> Написали - ли вы свое завъщание? — вдругъ спросилъ Вериеръ.

<sup>-</sup> А если будете убиты?

— Наслъдники отыщутся сами.

— Неужели у васъ пъть друзей, которымъ бы вы хотъли послать послъднее прости?...

Я покачаль головой.

— Неужели нъть женщины, которой вы хотъли

бы оставить что-нибудь на намять?...

— Хотите ли, докторъ, — отвъчалъ я ему, — чтобъ раскрыль вамь мою душу?... Видите ли: я выжиль изъ твхъ льтъ, когда умираютъ, произнося нмя своей любезной и завъщая другу клочокъ напомаженныхъ или ненаномаженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю объ одномъ себъ; ниме не дълають и этого. Друзья, которые завтра меня забудуть или, хуже, взведуть на мой счеть Богь знаеть какія небылицы; женщины, которыя, обнимая другого, будуть смёлться надо мною, чтобъ но возбудить въ немъ ревности къ усопшему,-Богъ съ ними! Изъ жизненной бури я вынест. только и всколько идей и ин одного чувства. Я давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взвъщиваю, разбираю свои собственныя страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мив два человвка: одинь живеть въ полномт. смыслъ этого слова, другой мыслить и судить его; первый, можеть быть, чрезъ часъ простится съ вами и міромъ на въки, а второй... второй?...»

Это признаше обнаруживаеть всего Печорина. Въ немъ пѣтъ фразъ, и каждое слово искренно. Безсознательно, но вѣрно выговорилъ Печоринъ всего себя. Этотъ человѣкъ не пылкій юноша, который гоняется за впечатлѣпіями и всего себя отдаетъ первому изъ шихъ, пока оно не изгладится, и душа не запроситъ новаго. Иѣтъ, опъ вполит пережилъ юношескій возрасть, этотъ періодъ романтическаго взгляда на жизнь: онъ уже не мечтаетъ умереть за свою возлюбленную, произнося ся имя и завъщевая другу локопъ волосъ, не пришимаетъ слово за дѣло, порывъ чувства, хотя-бы самаго возвышеннаго и благороднаго, за дѣйствительное состояніе души человѣка. Онъ много перечувствовалъ, много любилъ

и по опыту знаеть, какъ непродолжительны всъ чувства, всв привязанпости; онъ много думалъ о жизни, и по опыту знаеть, какъ ненадежны всъ заключенія и выводы для тіхъ, кто прямо и сміло смотрить на истипу, не тешить и не обманываеть себя убъжденіями, которымъ уже самъ не върштъ... Духъ его созрѣлъ для новыхъ чувствъ и новыхъ думъ, сердце требуетъ новой привязанности: дтйствительность — вотъ сущность и характеръ всего этого новаго. Онъ готовъ для него; но судьба еще не даеть ему новыхъ опытовъ, и, презирая старые, онъ все-таки по нимъ-же судить о жизни. Отсюда это безвъріе въ дъйствительность чувства и мысли, это охлаждение къ жизни, въ которой ему видится то оптическій обмань, то безсмысленное мельканіе китайскихъ тіней. Это — переходное состояніе духа, въ которомъ для человіка все старое разрушено, а новаго еще нътъ, и въ которомъ человъкъ есть только возможность чего-то дъйствительнаго въ будущемъ и совершенный призракъ въ настоящемъ. Тутъ-то возникаетъ въ немъ то, что на простомъ языкъ называется и «хандрою», и «ипохондрією», и «мнительностью», и «сомитичемъ», и другими словами, далеко не выражающими сущпости явленія, и что на языкѣ философскомъ называется рефлексіею. Мы не будемъ объяснять ин этимологическаго, ни философскаго значенія этого слова, а скажемъ коротко, что въ состояніи рефлексіи человъкъ распадается на два человъка, изъ которыхъ одинъ живетъ, а другой наблюдаетъ за нимъ и судить о немъ. Туть нъть полноты ни въ какомъ чувствъ, ни въ какой мысли, ни въ какомъ дъйствін: какъ только зародится въ человікі чувство, намфреніе, дъйствіе, тотчасъ какой-то скрытый въ немъ самомъ врагъ уже подсматриваетъ зародышъ, анализируетъ его, изследуетъ, верна-ли, истинна-ли эта мысль, дъйствительно-ли чувство, законно-ли намъреніе, и какая ихъ цъль, и къ чему

ведуть, — и благоуханный цвъть чувства блекиеть, не распустившись, мысль дробится въ безконечность, какъ солнечный лучъ въ граненомъ хрусталъ; рука, подъятая для дъйствія, какъ внезапно окаменълая, останавливается на взмахъ и не ударяетъ...

Такъ робкими всегда творить насъ совъсть. Такъ яркій въ насъ ръщимости румянецъ Подъ тьнію тускиветь размышленья, И замысловъ отважные порывы, Оть сей препоны уклоняя бъгъ свой, Именъ дъяній не стяжають...

H

a

У

0

6

1-

Ъ

),

II

>> ~

I-

1-

III

01

iII

ďb

H

11

ii-

0,

37

Ъ,

HE

ЛН

HH

говорить Гамлеть, этоть поэтическій апооеозь рефлексіи. Ужасное состояніе! Даже вь объятіяхъ любви, среди блажени вішаго упоенія и полноты жизни, возстаеть этоть враждебный внутренній голось, чтобы заставить человька думать, и, вырвавь изъ его рукь очаровательный образь, замѣнить его отвратительнымъ скелетомъ...

## Когда не думаеть пикто.

Но это состояние сколько ужасно, столько-же необходимо. Это одинъ изъ величайшихъ моментовъ. духа. Полнота жизни въ чувствъ, но чувство по есть еще последняя степень духа, дальше которой онъ не можетъ развиваться. При одномъ чувствъ человъкъ есть рабъ собственныхъ ощущеній, какъ животное есть рабъ собственнаго инстинкта. Достоинство безсмертнаго духа человъческаго заключается въ его разумности, а последній, высшій актъ разумности есть мысль. Въ мысли независимость и свобода человъка отъ собственныхъ страстей н темныхъ ощущеній. Когда человъкъ поднимаеть въ гнъвъ руку на врага своего - опъ слъдуетъ чувству, его одущевляющему; по только разумная о своемъ человъческомъ достоинствъ и о своемъ человъческомъ братствъ со врагомъ можетъ удержать порывъ гитва и обезоружить поднятую для убійства руку. Но переходъ изъ непосредственности въ разумное сознание необходимо совершается черезъ рефлексію, болье или менье бользнениую, смотря по свойству индивидуума. Если человікь чувствуєть хоть сколько-нибудь свое родство съ челов'вчествомъ и хоть сколько-нибудь сознаеть себя духомъ въ духъ, - онъ не можеть быть чуждъ рефлексін. Исключенія остаются только или за натурами чисто-практическими, или за людьми мелкими и ничтожными, которые чужды интересовъ духа, и которыхъ жизнь — апатическая дремота. И нашъ въкъ есть по преимуществу въкъ рефлексій, почему отъ нея не освобождены ни тѣ мирныя и счастливыя натуры, которыя съ глубокостью сотихость и невозмущаемое спокойствіе, единяютъ ни самыя практическія патуры, если онт не лишены глубокости. Отсюда значеніе цілой германской литературы: въ основанін почти каждаго изъ ел произведеній лежить правственный, религіозный или философскій вопросъ. «Фаустъ» Гёте есть поэтическій апооеозъ рефлексій нашего въка. Естественно, что такое состояніе человівчества нашло свой отзывъ и у нихъ; но оно отразилось въ нашей жизни особеннымъ образомъ, вслёдствіе неопредёленности, въ которую поставлено наше общество насильственнымъ выходомъ изъ своей непосредственности, черезъ великую реформу Петра. Дивно-художественная «Сцена Фауста» Пушкина представляетъ собою высокій образь рефлексін, какъ бользии многихъ индивидуумовъ нашего общества. Ея характеръаналическое охлаждение къ благамъ жизни, вслъдствіе невозможности предаваться имъ со всею полнотою. Отсюда: томительная бездѣйственность въ дъйствіяхъ, отвращеніе ко всякому дѣлу, отсутствіе всякихъ интересовъ въ душт, неопредфленность желаній и стремленій, безотчетная тоска, мечтательность при избыткъ внутренней жизни. противорѣчіе превосходно выражено авторомъ разбираемаго нами романа въ его чудно-поэтической

B

Į,

B

H

K

r

C

0

K

H

P

H

Д

1

H

H

H

П

H

П

«Думѣ», исполненной благороднаго негодованія, могучей жизни и поразительной вѣрности идей. Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно припоминть изъ нея слѣдующіе четыре стиха, въ которыхъ сказано больше, чѣмъ въ двѣнадцати томахъ иного «господинасочинителя»:

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно, Ничъмъ не жертвуя ни злобъ, ни любви, И царствуетъ въ душъ какой-то холодъ тайный, Когда огонъ кипитъ въ крови!...

Печоринъ есть одинъ изъ тъхъ, къ кому особенно должно относиться это энергическое воззвание благороднаго поэта, котораго это самое  $\mathbf{H}$ ставило назвать героя романа героемъ налнего Отсюда происходить и недостатокъ опревремени. двленности, недостатокъ художественной рельефности въ изображенін этого лица, по отсюда-же выходить и его высочайщій поэтическій интересь для вейхъ, кто принадлежить къ нашему времени не по одному году и числу мъсяца, въ которые родился, и то сильное неотразимо - грустное внечатлтніе, которое онъ на насъ производить. Но мы еще возвратимся къ этому предмету, когда кончимъ изложение содержанія романа.

I

0

ь

Ъ

R

I-

Ъ

11-

Ю

ďЪ

Т-

ď

a-

го

3-

ĬĬC

Подробности свиданія противниковъ на мфстф роковой разделки переданы авторомъ съ ужасающею истиною и поэзіею.

Слъдуетъ пересказъ сцены приготовлений из дуэли, выстръла Грушницкаго и обращения из послъднему Печорина съ предложениемъ признаться въ илеветъ.

Здёсь предстояль автору прекрасный случай изобразить трогательную сцену примиренія враговъ и обращенія на путь истины заблудшаго человёка, и тёмъ премного утённіть моралистовъ и любителей пряничныхъ эффектовъ; но глубоко-художническій инстинкть истины, безсознательно открывающій поэту самыя сокровенныя таннства человёческой

природы, заставиль его написать сцену совсёмъ въ другомъ родѣ, — сцену, которая поражаеть своею ужасною, безнощадною истинностью и своею потрясающею эффектностью, при высочайшей простотѣ и естественности... Лицо Грушницкаго веныхнуло, глаза засверкали. «Стрѣляйте!» — отвѣчаль онъ, — «я себя презираю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убъете, я васъ зарѣжу ночью изъ-за угла. Намъ на землѣ вдвоемъ нѣтъ мѣста...»

Да, это гешальная черта, смфлый и мощный взмахъ художнической кисти!... Не забудьте, что у Грушницкаго нътъ только характера, но что натура его не чужда была нѣкоторыхъ добрыхъ сторонъ: онъ песпособенъ быль ии къ дъйствительному добру, ни къ действительному злу; но торжественное трагическое положение, въ которомъ самолюбіе его играло-бы напропалую, необходимо должно было возбудить въ немъ мгновенный и смѣлый порывъ страсти. Самолюбіе увѣрило его въ небывалой любви къ княжив и въ любви княжны къ нему; самолюбіе заставило его вид'єть въ Печоринъ своего сопершика и врага; самолюбіе ръшило его на заговоръ противъ чести Печорина; самолюбіе не допустило его послушаться голоса своей совъсти и увлечься своимъ добрымъ началомъ, чтобы признаться въ заговорѣ; самолюбіе заставило его выстрѣлить въ безоружнаго человѣка; то-же самое самолюбіе и сосредоточило всю силу его души въ такую решительную минуту и заставило предпочесть върную смерть върному спасенію чрезъ признаніе. Этоть человікь — апооеозь мелочного самолюбія и слабости характера: отсюда всѣ его поступки, — и, несмотря на кажущуюся силу его последняго поступка, онъ вышель прямо изъ слабости его характера. Самолюбіе — великій рычагъ въ душѣ человѣка; оно родить чудеса! Бываютъ на свътъ люди, которые, не блъдиъл, какъ передъ чашкою чая, стоять передъ дуломъ своего противника, и которые прячутся подъ фуры во время сраженія...

Слъдуеть пересказъ дальнъйшихъ событій: возвращенія Печорина домой и полученія имъ письма

оть Въры.

)

Ь

[]

ii

0

Ь

0

Ъ

0

H

Ы О

)-

O

}~

H

Ы

O

0

H

Į-

Ъ

G<sup>r</sup>

0

0

լ-

Ъ

Ъ

Велѣвъ осѣдлать измученнаго коня, какъ безумный помчался Печоринъ въ Пятнгорскъ. При возможности потерять Вѣру, она стала для него дороже всего на свѣтѣ — жизши, чести, счастія! Натискъ судьбы взволновалъ могучую натуру, изнемогавшую въ спокойствіи и мирѣ, и возбудилъ ел дремавшее чувство... Здѣсь невольно приходятъ на умъ эти стихи Пушкина:

О люди! всё похожи вы На прародительницу Еву: Что вамъ дано, то не влечеть; Васъ безпрестанно змій говеть Къ себе, къ таниственному древу: Запретный плодъ вамъ подагай. А безъ того вамъ рай не въ рай.

Стремглавъ скача и погоняя безпощадно, онъ сталь замвчать, что конь его тяжело дышеть н спотыкается. Оставалось пять версть до Есентуковъ, казачьей станицы, гдіб-бы могь онь пересість на другую лошадь. Еще-бы только десять минуть, но конь рухнулъ и издохъ... Печоригь хотъль идти пѣшкомъ, по, изнуренный тревогами дня и безсонницею, онъ упалъ на мокрую траву и какъ ребенокъ заплакалъ... Напряженная гордость, холодная твердость — плодъ сухого отчаянія, софизмы свътской философіи -- все исчезло и умолкло; уже не стало человъка, волнуемаго страстями, потрясаемаго борьбою внутренцихъ противоръчій, — нередъ вами бъдное, безсильное дитя, слезами омывающее грѣхи свои, чуждое, на эту минуту, ложнаго стыда и не жалующееся ни на судьбу, ни на людей, ни па самого себя...

«И долго лежаль я неподвижно, и плакаль горько, не стараясь удержать слезь и рыданій; я думаль, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе исчезли какъ дымь, душа обезсилѣла, разсудокъ замолкъ; и если бъ въ эту минуту ктоннбудь меня увидѣлъ, онъ бы съ презрѣніемъ отвернулся».

Когда ночная роса и горный вѣтеръ освѣжили его горящую голову, онъ разсудилъ, что горьки прощальный поцѣлуй немного - бы прибавилъ къ его воспоминаціямъ, а разлука послѣ него была-бы тяжелѣе, — и возвратился въ Кисловодскъ.

Слъдуеть пересказъ дальпъйщихъ событій: приказа начальства Печорину ъхать въ кръпость и цитата сцены его свиданія съ кляжной.

Нужно-ли что-инбудь говорить объ этой сценв, гдв бедная Мери является въ такомъ безконечно-поэтическомъ апоосозе страданія отъ обманутаго чувства и оскорбленнаго самолюбія и достоинства женщины, и гдв каждое ся движеніе, каждый звукъ ся голоса запечатлёны такою неотразимою прелестью и истиною, а положеніе такъ трогательно и возбуждаетъ такое сильное и горестное участіе?... Нётъ, кому эта сцена не скажетъ всего, тому наши слова инчего не пояснять...

Черезь часъ скакаль опъ на тройкѣ курьерскихъ изъ Кисловодска, и на дорогѣ увидѣлъ своего коня: сѣдло было снято и, вмѣсто него, два воропа сидѣли у него на спинѣ... Онъ вздохнулъ и отвернулся...

«И теперь, здёсь, въ этой скучной крёности, я часто, пробёгая мыслью прошедшее, спращиваю себя, отчего я не хотёль ступить на этоть путь, открытый мий судьбою, гдё меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?... Ийть, я бы не ужился съ этою долею! Я какъ матрось, рожденный и выросшій на палубі разбойничьяго брига: его душа слилась съ бурями и битвами, и, выброшенный на берегь, онъ скучаеть и томится, какъ

ни мани его твинстая роща, какъ пи свъти ему мирное солнце; онъ ходить себъ цвлый день по прибрежному неску, прислушивается къ однообразному роноту набъгающихъ волиъ и всматривается въ туманную даль: не мелькиеть ли, тамъ, на блъдной чертъ, отдъляющей синюю пучину отъ сърыхъ тучекъ, желанный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-по-малу отдъляющийся отъ цъны валуновъ и ровнымъ бъгомъ приближающийся

къ пустынной пристани...»

0,

Б,

00

a.,

()-

HI

HI

10

Ы

3a

ra

Ĕ,

0-

FO.

Ba

СЪ

62-

OF

III

Ъ

()

3a

Ъ

I,

OL

 $\mathbf{R}$ 

1e

Į--

- I

Ъ

Такою лирическою выходкою, полною безконечной поэзін и обнаруживающею всю глубниу и мощь этого человъка, заканчивается журпалъ Печорина. Теперь это таниственное лицо, такъ сильно волновавшее наше любопытство и въ исторін Бэлы, и при свиданін съ Максимомъ Максимычемъ, н въ разсказ о собственномъ приключении въ Тамани, --теперь опо все передъ нами во весь ростъ свой. Черезъ него самого познакомились мы со встми изгибами его сердца, со встми событіями его жизни. и тенерь уже самъ онъ ничего новаго не въ состоянін сказать намъ о самомъ себъ. Но между тъмъ, прочтя «Княжну Мери», мы все еще не разстались съ нимъ, и еще разъ встрфчаемся съ нимъ, съ разсказчикомъ необыкновеннаго случая. какъ котораго онъ быль свидетелемъ. Мы не будемтни подробно излагать содержанія этого разсказа, ни делать изъ него выписокъ. Въ обществъ офицеровъ зашелъ споръ о восточномъ фатализмѣ, и молодой офицеръ Вуличъ предложилъ нари противи. предопределенія, схватиль со стены первый попавшійся ему изъ множества виствиихъ на сттив пистолетовъ, насыпалъ на полку пороха, приставилъ пистолеть ко лбу, спустиль курокъ — остика!... Захотели узнать, точно-ли пистолеть быль заряжень, выстрълили въ фуражку, -- и когда дымъ разсвялся, всь увидьли, что фуражка была прострълена. Еще до выстрѣла Печорину въ лицѣ и голосѣ Вулича показалось что-то такое странное и таниственное.

что онъ невольно убъдился въ близкой смерти этого человъка, и предрекъ ему смерть. Въ самомъ дълъ, выходя изъ общества, Вуличь быль убитъ на улицъ станицы пьянымъ казакомъ... Да здравствуеть фатализмъ!... Все, что мы пересказали въ нѣсколькихъ строкахъ, составляетъ въ романѣ порядочный отрывокъ съ превосходно изложенными подробностями, увлекательный по разсказу. Особенно хорошо обрисованъ характеръ героя, — такъ и видите его передъ собою, темъ более, что опъ очень похожъ на Печорина. Самъ Печоринъ является туть дъйствующимъ лицомъ, и едва-ли еще не болъе на первомъ планъ, чъмъ самъ герой разсказа. Свойство его участія въ ход'в пов'єсти, равно какъ и его отчаянная, фаталистическая смёлость при взятіи взбъспвшагося казака если не прибавляють ничего поваго къ даннымъ о его характеръ, то все-таки добавляють уже извъстное намъ, и тъмъ самымъ усугубляють единство мрачнаго и терзающаго душу впечатленія целаго романа, который есть біографія одного лица. — Это усиленіе впечатлівнія особенно заключается въ основной идеъ разсказа. которая есть фатализмъ, въра въ предопредъление, одно изъ самыхъ мрачныхъ заблужденій человъческаго разсудка, которое лишаеть человъка нравственной свободы, изъ слвиого случая двлая необходимость. Предразсудокъ — явно выходящій изъ положенія Печорина, который не знаеть, чему вфрить, на чемъ опереться, и съ особеннымъ увлеченіемъ хватается за самыя мрачныя убъжденія, лишь-бы только давали они поэзію его отчаннію и оправдывали его въ собственныхъ глазахъ.

Что-же за человъкъ этотъ Печоринъ? — Здъсь мы должны обратиться къ «Предисловію», написанному авторомъ романа къ журпалу Печорина.

«Теперь я должень нёсколько объяснить причины, побудившія меня передать публикі сердечныя тайны человіка, котораго я пикогда не зналь. Добро-бы

я быль еще его другомь: коварная нескромпость нетиннаго друга понятна каждому, но я видёль его только разь въ моей жизни на большой дорог'й; слёдовательно, не могу питать къ нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъ личниою дружбы, ожидаеть только смерти или несчастія любимаго предмета, чтобъ разразиться надъ головою громомъ упрековъ, сов'єтовъ и сожалівній».

Несмотря на всю софистическую ложность этой горькой выходки, — самая-же жолчность свид втельствуеть уже, что въ пей есть своя истиннал сторона. Въ самомъ дълъ, есть роза съ роскошнымъ цвътомъ, упонтельнымъ ароматомъ, но и съ колючими шипами. Каждая индивидуальность, какъ-бы по природъ своей, враждебиа другой, и силится пересоздать ее по-своему, и въ самомъ дѣлѣ, когда сходятся двѣ субъективности, онѣ, такъ сказать, чрезъ взаимное треніе другь объ друга сглаживаются и изм'вияются, заимствуя одна отъ другой то, чего имъ недостаетъ. Отсюда это взаимное цензорство въ дружбъ, эта страсть разражаться надъ головою друга градомъ упрековъ, насм'вшекъ н сожальній. Самолюбіе туть играеть свою роль; но если дружба основана не на дътской привязапности, или какой-пибудь вижшней связи, истинная привязанность, внутреннее человъческое чувство всегда играеть туть свою роль. Авторъ видить въ дружбъ один шины — и его ошибка не въ ложности, а въ односторонности взгляда. Онъ видимо находится въ томъ состояніи духа, когда въ нашемъ разумѣніи всякая мысль распадается на свои-же собственные моменты, до тахъ поръ, пока духъ нашъ не созрѣеть для великаго процесса разумнаго примиренія противоположностей въ одномъ и томъ-же предметь. Вообще, хотя авторъ и выдаеть себя за человъка, совершенно чуждаго Печорину, но онъ сильно симпатизируеть съ нимъ, и въ ихъ взглядъ на вещи - удивительное сходство. Слъдующее мъсто изъ «Предисловія» еще болье подтверждаеть нашу мысль:

«Можеть быть, пёкоторые читатели захотять узнать мое мнёніе о характер'в Печорина. Мой отв'ять— заглавіе этой книги. — Да это злая пронія! скажуть опи. — Не знаю».

Итакъ, «Герой нашего времени» — вотъ основная мысль романа. Въ самомъ дѣлѣ, послѣ этого весь романъ можетъ почесться злою пропіею, потому что большая часть читателей навѣрпое воскликнетъ: «Хорошъ-же герой!» — А чѣмъ-же онъ дуренъ? — смѣемъ васъ спросить.

Зачёмь же такь неблагоскленно
Вы отзываетесь о немь?
За то-ль, что мы пеугомонно
Хлоночемь, судимь обо всемь,
Что пылкихь думь неосторожность
Себялюбивую ничтожность
Иль оскорбляеть, иль смёщить,
Что умь, любя просторь, тёснить,
Что слишкомь часто разговоры
Принять мы рады за дёла,
Что глупость вётрена и зла,
Что важнымь людямь важны вздоры,
И что посредственность одна
Намь по плечу и нестрашна?

Вы говорите противъ него, что въ немъ ивтъ въры. Прекрасно! но въдь это то-же самое, что обвинять инщаго за то, что у него ивтъ золота: онъ-бы и радъ имъть его, да не дается оно ему. И притомъ развъ Печоринъ радъ своему безвърно? развъ онъ гордится имъ? развъ онъ не страдалъ отъ него? развъ онъ не готовъ цъною жизни и счастья купить эту въру, для которой еще не насталъ часъ его?... Вы говорите, что онъ эгоистъ? — Но развъ онъ не презираетъ и не ненавидитъ себя за это? развъ сердце его не жаждетъ любви чистой и безкорыстной? Нътъ, это не эгоизмъ: эгоизмъ не страдаетъ, не обвиняетъ себя, но доволенъ

собою, радъ себъ. Эгонзмъ не знаетъ мученія; страданіе есть удёль одной любви. Душа Печорина не каменная почва, но засохшая отъ знол пламенной жизни земля: пусть взрыхлить ее страданіе и оросить благодатный дождь, — и она произрастить изъ себя пышные, роскошные цвъты небесной любви... Этому человъку стало больно и грустно, что вст его не любять, -- и кто-же эти «всъ»? — пустые, ничтожные люди, которые не могутъ простить ему его превосходства надъ ними. А его готовность задушить въ себъ ложный стыдъ, голосъ свътской чести и оскорбленнаго самолюбія, когда онъ за признаніе въ клеветь готовъ быль простить Грушпицкому, — человѣку, сейчасъ только выстрѣдившему въ него пулею и безстыдно ожидавшему отъ него холостого выстрѣла? А его слезы и рыданія въ пустынной степи, у тъла издохшаго коня? -пътъ, все это не эгонзмъ! Но его — скажете вы холодная расчетливость, систематическая разсчитан пость, съ которою онъ обольщаеть бъдную дъвушку. не любя ея, и только для того, чтобы носм'виться надъ нею и чемъ-нибудь занять свою праздность? — Такъ, но мы и не думаемъ оправдывать его въ такихъ поступкахъ, ни выставлять его образцомъ. высокимъ идеаломъ чистфінцей правственности; мы только хотимъ сказать, что въ человъкъ должно человъка, и что идеалы нравственности существують въ однихъ классическихъ трагедіяхъ и морально - сентиментальныхъ романахъ прошлаго въка. Судя о человъкъ, должно брать въ разсмотржніе обстоятельства его развитія и сферу жизпи, въ которую онъ поставленъ судьбою. Въ идеяхъ Печорина много ложнаго, въ ощущеніяхъ его есть искаженіе; но все это выкупается его богатою натурою. Его, во многихъ отношеніяхъ, дурное настоящее объщаеть прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрымъ движеніемъ нарохода, видите въ немъ великое торжество духа надъ природою --

н хотите потомъ отрицать въ немъ всякое достоинство, когда онъ сокрушаеть, какъ зерно жерновъ, неосторожныхъ, попавшихъ подъ его колеса: не значитъ-ли это противоръчить самимъ себъ? опасность отъ парохода есть результать его чрезмърной быстроты; слѣдовательно, порокъ его выходить изъ его достоинства. Бываютъ люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведенія, нотому что она въ нихъ есть следствіе безжизненности и слабости духа. Порокъ возмутителенъ и въ великихъ людяхъ; но наказанный. онъ приводитъ въ умиленіе вашу душу. Это наказаніе только тогда есть торжество правственнаго духа, когда оно является не извив, но есть результать самаго порока, отрицание собственной личности индивидуума въ оправдание въчныхъ законовъ оскорбленной правственности. Авторъ разбираемаго нами романа, описывая наружность Печорина, когда онъ съ нимъ встретился на большой дороге, вотъ что говорить о его глазахъ: «Оши не смѣялись, когда онъ смѣялся... Вамъ не случалось замѣчать такой странности у нѣкоторыхъ людей? Это признакъ или злого нрава, или глубокой постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ ръсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выра-То не было отражение жара душевнаго зиться. нли играющаго воображенія: то быль блескъ, подобный блеску гладкой стали, ослепительный, но холодный; взглядъ его — непродолжительный, по проницательный и тяжелый, оставляль по себъ непріятное впечатленіе нескромнаго вопроса, и могъ казаться дерзкимъ, если-бъ не былъ столь равнодушноспокоенъ». — Согласитесь, что какъ эти глаза, такъ и вся сцена свиданія Печорина съ Максимъ Максимычемъ показывають, что если это порокъ, то совствующій, и надо быть рожденнымъ для добра, чтобъ такъ жестоко быть наказану за зло?... Торжество правственнаго духа гораздо

поразительные совершается надъ благородными патурами, чымь падъ злодыями...

А между тъмъ этотъ романъ совсъмъ не злая иронія, котя и очень легко можеть быть принятъ

за пропію: это одинъ изъ тъхъ романовъ.

Въ которомъ отразился въкъ, П современный человъкъ Пзображенъ довольно върно Съ его безиравственной душой, Себялюбивой и сухой, Мечтанью преданной безмърно, Съ его озлобленнымъ умомъ, Кинящемъ въ дъйствіи пустомъ.

«Хорошъ-же современный человъкъ!» воскликнуль одинъ правоописательный «сочинитель», разбирая или, лучше сказать, ругая седьмую главу «Евгенія Опъ-гина». Здѣсь мы почитаемъ кстати замѣтить, что всякій современный человѣкъ, въ смыслѣ представителя своего вѣка, какъ-бы онъ ни былъ дуренъ, но можетъ быть дуренъ, потому что нѣтъ дурныхъ вѣковъ, и пи одинъ вѣкъ не хуже и не лучше другого, потому что онъ есть необходимый моментъ въ развитіи человѣчества или общества.

Пушкинъ спрашивалъ самого себя о своемъ

Онъгипъ:

Ï

Чудакъ печальный и опасный,
Созданье ада иль небесь,
Сей ангель, сей надменный бъсь,
Что жъ онь? Ужели подражанье,
Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащъ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ,
Ужъ не пародія-ли онъ?

И этимъ самымъ вопросомъ онъ разрѣшилъ загадку и нашелъ слово. Онѣгинъ не подражанів, а отраженіе, но сдѣлавшееся не въ фантазіи поэта, а въ современномъ обществѣ, которое онъ изобразилъ въ лицѣ героя своего поэтическаго романа.

Сближеніе съ Европою должно было особеннымъ образомъ отразиться на нашемъ обществѣ, — и Пункинъ геніальнымъ инстипктомъ великаго художника уловилъ это отраженіе въ лицѣ Онѣгина. Но Онѣгинъ для насъ уже прошедшее, и прошедшее невозвратное.

Если - бы онъ явился въ наше время, вы имѣли - бы право спросить вмѣстѣ съ поэтомъ:

Все тоть же-ль опь, иль усмирился? Пль корчить такь же чудака? Скажите, чёмь онь возвратился? Что намь представить опь пока? Чёмь нынё явится? — Мельмотомь, Космополитомь, патріотомь, Герольдомь, квакеромь, ханжой, Иль маской щегольнеть иной? Иль просто будеть добрый маный, Какъ ты да я, какъ цёлый свёть?

Печоринъ Лермонтова есть лучшій отвѣть на всѣ эти вопросы. Это Онѣгинъ нашего времени, герой нашего времени. Несходство ихъ между собою гораздо меньше разстоянія между Онегою и Печорою. іпогда въ самомъ имени, которое истинный поэтъ даетъ своему герою, есть разумиая необходимость, хотя, можетъ быть, и невидимая самимъ поэтомъ.

Со стороны художественнаго выполненія нечего и сравнивать Опѣгина съ Печоринымъ. Но какъ выше Опѣгинъ Печорина въ художественномъ отношенін, такъ Печоринъ выше Опѣгина по идеѣ. Впрочемъ это преимущество принадлежитъ нашему времени, а не Лермонтову.

Что такое Онъгинъ? — Лучшею характеристикою и истолкованіемъ этого лица можетъ служить французскій эпиграфъ къ поэмъ: "Pétri de vanité il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence les bonnes comme les mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité,

реце-être imaginaire "\*). Мы думаемъ, что это превосходство въ Онътинъ писколько не было воображаемымъ, потому что онъ «вчужъ чувства уважалъ» и что въ «его сердцъ была и гордость, и прямая честь». Онъ является въ романъ человъкомъ, котораго убили воспитаніе и свътская жизнь, которому все приглядълось, все пріълось, все прилюбилось, и котораго вся жизнь состояла въ томъ:

Что опъ равно звалъ Средь модныхъ и старинныхъ залъ.

Не таковъ Печоринъ. Этотъ человъкъ не равнодушно, не апатически несетъ свое страданіе: бѣшено гоняется онъ за жизнью, ища ее повсюду; горько обвиняетъ 4HO себя въ своихъ заблужденіяхъ. Въ немъ неумолчно раздаются внутрение вопросы, тревожать его, мучать, и онь въ рефлексін ищеть ихъ разръщенія: подсматриваетъ каждое движеніе своего сердна, разсматриваеть каждую мысль свою. Опъ сдълалъ изъ себя самый любонытный предметъ своихъ наблюденій и, стараясь быть какъ можно искреннъе въ своей исповъди, не только откровенно признается въ своихъ истинныхъ недостаткахъ, но еще и выдумываеть небывалые, или ложно истолковываеть самыя естественныя свои движенія. Какъ въ характеристикъ современнаго человъка, сдъланной Нушкинымъ, выражается весь Онвгинъ, такъ Печоринъ весь въ этихъ стихахъ Лермонтова:

И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно, Ничёмъ не жертвуя ни злобе, ни любин, И нарствуетъ въ душе какой-то холодъ тайный. Коппед огонь кинитъ въ крови.

<sup>\*) «</sup>Пенолненный тщеславія, онъ обладаль сверхъ того особою гордостью, — следствіемь сознанія своєго провосходства, быть можеть воображаемаго, — которозаставляеть одиналово безравлично относиться и къдорымъ и къздавить дъйствіямъ».

«Герой нашего времени» — это грустная о нашемъ времени, какъ и та, которою такъ благородно, такъ энергически возобновилъ поэтъ свое поэтическое поприще, и изъ которой мы взяли эти

четыре стиха...

Но со стороны формы изображение Печорина не совственно. Однако причина этого не въ недостаткъ таланта автора, а въ томъ, что нзображаемый имъ характеръ, какъ мы уже слегка и намекнули, такъ близокъ къ нему, что онъ не въ силахъ былъ отдълаться отъ него и объектировать его. Мы убъждены, что никто не можеть видъть въ словахъ пашихъ желаніе выставить романъ Лермонтова автобіографіею. Субъективное изображеніе лица не есть автобіографія. Шиллеръ не былъ разбойникомъ, хотя въ Карлъ Мооръ и выразилъ свой идеалъ человъка. Прекрасно выразился Фаригагенъ, сказавъ, что на Онъгина и Ленскаго можно-бы смотръть, какъ на братьевъ Вульта и Вальта у Жана-Поля-Рихтера, т.-е. какъ на разложеніе самой природы поэта, и что онъ, можетъ быть, воплотиль двойственность своего внутренняго существа въ этихъ двухъ живыхъ созданіяхъ. Мысль върная, а между тъмъ было-бы очень нелъпо искать сходныхъ чертъ въ жизни этихъ лицъ съ жизпью самого поэта.

Вотъ причина неопредѣленности Печорина и тѣхъ противорѣчій, которыми такъ часто опутывается изображеніе этого характера. Чтобы изобразить в рно данный характеръ, надо совершенно отд'влиться отъ него, стать выше его, смотртвь на него какъ на нѣчто оконченное. Но этого, повторяемъ, не видно въ созданін Печорина. Онъ скрывается отъ насъ такимъ-же неполнымъ и перазгаданнымъ существомъ, какъ и является намъ въ началъ романа. Оттого и самый романъ, поражая удивительнымъ едипствомъ ощущенія, нисколько не поражаеть единствомъ мысли. и оставляеть насъ безъ всякой перспективы, которая невольно возникаетъ въ фантазіи читателя по прочтенін художественнаго произведенія, и въ которую певольно погружается очарованный взоръ его. Въ этомъ романъ удивительная замкнутость созданія, по не та высшая, художественная, которая сообщается созданію чрезъ единство поэтической иден, а происходящая отъ единства поэтическаго ощущенія, такъ глубоко поражаетъ которымъ онъ читателя. Въ немъ есть что-то неразгаданное, какъ-бы недоговоренное, какъ въ «Вертеръ» Гёте, и потому есть что-то тяжелое въ его впечатлении. Но этотъ педостатокъ есть въ то-же время и достоинство романа Лермонтова: таковы бывають всѣ современные общественные вопросы, высказываемые въ поэтическихъ произведеніяхъ: это воиль страданія, но вопль, который облегчаеть страданіе...

Это-же единство ощущенія, а не идеи, связываеть и весь романь. Въ «Онфгинф» всф части органически сочленены, ибо въ избранной рамкф романа своего Пушкипъ исчерпалъ всю свою идею, и потому въ немъ ни одной части нельзя измънить, ни замънить. «Герой нашего времени» представляеть собою ивсколько рамокъ, вложенныхъ въ одну большую раму, которая состоить въ названін романа и единствъ героя. Части этого романа расположены сообразно съ внутреннею необходимостью; но такъ какъ опъ только отдёльные случан изъ жизни хотя и одного и того-же человъка, то и могли-бы быть замънены другими, ибо, вмъсто приключенія въ крѣности съ Бэлою или въ Тамани, могли-бъ быть подобныя-же и въ другихъ мъстахъ, и съ другими лицами, хотя при одномъ и томъ-же героф. Но темъ не менфе основная мысль автора даеть имъ единство, и общность ихъ впечатленія норазительна, не говоря уже о томъ, что «Бэла», «Максимъ Максимычъ» и «Тамань», отдёльно взятыя, суть въ высшей стенени художественныя произведенія. И какія типическія, какія дивно-художественныя лица—Бэлы, Азамата, Казбича, Максима Максимыча, дъвушки въ Тамани! Какія поэтическія подробности, какой на всемъ поэтическій колорить!

Но «Килжна Мери», и какъ отдельно взятая повъсть, менъе всъхъ художественна. Изъ лицъ, одинъ Грушницкій есть истинпо-художественное созданіе. Драгунскій капитанъ безподобенъ, хотя н является въ твин, какъ лицо меньшей важности. Но всвхъ слабве обрисованы лица женскія, потому что на пихъ-то особенно отразилась субъективности. взгляда автора. Лицо Въры особенно неуловимо т неопредъленно. Это скоръе сатпра на женщину, чъмъ Только-что начинаете вы занитересовыженшина. ваться и очаровываться, какъ авторъ тотчасъ-же и разрушаетъ ваше участіе и очарованіе какоюшнбудь совершенно произвольною выходкою. Стноченія ея къ Печорику положи на загади. То орга кажется вамъ женщиною глубокою, способною къ бозграничной любви и преданности, къ геройскому самоотверженію; то видите въ цей одну слабость и больше ничего. Особенно ощутителень вы ней недостатокъ женственной гордости и чувства свсего женственнаго достоинства, которыя не м'внають женщинъ любить горячо и беззавътно, по поторыя едва-ли когда допустять истинно глубокую женщину сносить тиранство любви. Она любить Печорина. а въ другой разъ выходить замужъ, и еще за старика, слъдовательно по расчету, по какому-бы то ни было; изм'винвъ для Печорина одному мужу, измѣняетъ и другому, и скоръе по слабости, чѣмъ но увлеченію чувства. Она обожаеть въ Печоринъ его высшую природу, и въ ея обожаніи есть что-то рабское. Вслъдствіе всего этого она не возбуждаеть къ себъ сильнаго участія со стороны автора и. подобно тъни, проскальзываетъ въ его воображенін. Княжна Мери изображена удачиве. Это дввушка неглупая, но и не пустая. Ея направленіе нъсколько идеально, въ дътскомъ смыслъ этого слова: ей мало

любить человтка, къ которому влекло-бы ее чувство, непрем'вино надо, чтобы онъ былъ несчастенъ и ходиль въ толстой и сърой солдатской шинели. Печорину очень легко было обольстить ес: стоило только казаться непонятнымъ и таниственнымъ, и быть дерзилив. Въ ея паправленін есть нівчто общее съ Грушинцкимъ, хотя сна и несравненно выше его. Она допустила обмануть себя: по когда увидъла себя обманутою, она, какъ женщина, глубою почувствовала свое оскорбление и пала его жертного, безотвътною, безмольно-страдающею, но безъ униженія, — и сцена ея посл'ядняго свиданія съ Печоринымъ возбуждаетъ къ ней сильное участіе и обливаеть ея образь блескомъ норзін. По, несмотря на это, и въ дей есть что-то какъ-будго-бы недосказанное, чему опять причиною то, что ея тяжбу съ Печоринымъ судило не третье лицо, какимъ-бы долженъ былъ явиться авторъ.

Однако, при всемъ этомъ недостатить художественности, вся повъсть насквозь проникцута ноэзіею, исполнена высочайщаго интереса. Каждое слово въ ней такъ глубоко знаменательно, самые парадоксы такъ поучительны, каждое положеніе такъ интересно, такъ живо обрисовано! Слогъ повъсти то блескъ молнін, то ударъ меча, то разсынающійся но бархату жемчугъ! Основная идея такъ близка сердцу всякаго, кто мыслить и чувствуетъ, что всякій изъ такихъ, какъ-бы ин противоположно было его положеніе положеніямъ, въ ней представленнымъ, увидить въ ней исповъдь собственнаго сердца \*).

## Стихотворенія.

Свѣжесть благоуханія, художественная роскошь формъ, поэтическая прелесть и благородная про-

<sup>\*)</sup> Изъ статьи «Герой нашего времени».

стота образовъ, эпергія, могучесть языка, алмазная кръпость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразіе идей, необъятность содержанія — суть родовыя характеристическія примъты поэзін Лермонтова и залогь ея будущаго

великаго развитія.

Чемъ выше поэтъ, темъ больше принадлежитъ онъ обществу, среди котораго родился, тѣмъ тѣснѣе связано развитіе, направленіе и даже характеръ его таланта съ историческимъ развитіемъ общества. Пушкинъ началъ свое поэтическое поприще «Русланомъ Людмилою» — сочиненіемъ, котораго идея отзывается слишкомъ ранней молодостью, но которое кипитъ чувствомъ, блещетъ всъми красками, благоухаеть всёми цвётами природы, сознаціемъ неистощимо веселымъ, игривымъ... Это была шалость генія посяв первой онорожненной имъ чаши на свътломъ ниру жизни... Лермонтовъ началъ исторической поэмой, мрачной по содержанию, суровой и важной по формъ... Въ первыхъ своихъ лирическихъ произведеніяхъ, Пушкниъ явился провозв'єстинкомъ человъчности, пророкомъ высокихъ идей общественныхъ; по эти лирическія стихотворенія были столько-ж полны свътлыхъ надеждъ, предчувствія торжества, сколько силы и энергін. Въ первыхъ лирическихъ произведеніяхъ Лермонтова, разумфется, тъхъ, въ которыхъ онъ особенно является русскимъ и современнымъ поэтомъ, также виденъ избытокъ несокрушимой силы духа и богатырской силы въ выраженін; но въ нихъ уже пѣтъ надежды, они поражають душу читателя безотрадностью, безвъріемъ въ жизнь и чувства человъческія, при жаждъ жизни и избыткъ чувства... Ингдъ пътъ Пушкинскаго разгула на пиру жизни; но вездъ вопросы, которые мрачать душу, леденять сердце... очевидно, что Лермонтовъ поэтъ совстиъ другой мохи, и что его поэзія — совстив новое звено въ цёпи историческаго развитія нашего общества.

 $\mathbf{R}_{\lambda}$ 

 $\mathcal{H}$ 

Первая пьеса Лермонтова напечатана была въ «Современникъ» 1837 года, уже послъ смерти Пушкина. Она называется «Бородино». Поэтъ представляетъ молодого солдата, который спраниваетъ стараго служаку:

Скажи-ка, дядя, вёдь не даромь Москва, спаленная пожаромь, Французу отдана? Вёдь были схватки боевыя? Да, говорять, еще какія! Не даромъ помнить вся Россія Про день Бородина.

Вся основная идея стпхотворенія выражена во второмъ куплеть, которымъ начинается отвыть стараго солдата, состоящій изъ тринадцати куплетовъ:

— Да, были люди въ наше время, Не то, что нынѣщиее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая имъ досталась доля:
Немногіе вернулись съ поля...
Не будь на то Господня воля,
Не отдали бъ Москвы!

Эта мысль — жалоба на настоящее покольше, дремлющее въ бездъйствии, зависть къ великому прошедшему, столь полному славы и великихъ дълъ Лальше мы увидимъ, что эта «тоска по жизни» виущила нашему поэту не одно стихотвореніе, полное эпергін и благороднаго цегодованія. Что-же до «Бородина», - это стихотвореніе отличается простотою, безыскусственностью: въ каждомъ словъ слышите солдата, языкъ котораго, не переставая быть грубопростодушнымъ, въ то-же время благороденъ, силенъ и полонъ поэзін. Ровность и выдержанность тона лелають осязаемо-ощутительной основную мысль поэта. Впрочемъ, какъ ни прекрасно это стихотвореніе, оно не могло еще показать, оть его автора должна была ожидать наша поэзіл. D., 1838 году въ «Литературныхъ Прибавлені: Бът

къ «Русскому Инвалиду» была напечатана его поэма «Пъсня про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова»; произведение сдтлало извъстнымъ имя автора; хотя оно явилось и безъ подписи этого имени. Спрашивали: кто такое безыменный поэть? кто такое Лермонтовъ? писалъ-ли опъ что-нибудь кромъ этой поэмы? Но, несмотря на то, эта поэма все-таки еще не оцъпена, толпа и не подозръваеть ея высокаго достоинства. Здёсь поэть оть настоящаго міра неудовлетворяющей его русской жизни перенесся въ ея историческое прошедшее, подслушалъ біеніе его пульса, проникъ въ сокровеннъйшіе п глубочайшіе тайники его духа, сроднился и слился съ нимъ всемъ существомъ своимъ, обвеллся его звуками, усвоиль себъ складъ его старинной ръчи, простодушную суровость его нравовъ, богатырскую силу и широкій разметь его чувства и, какъ-будто современникъ этой эпохи, принялъ условія ел грубой и дикой общественности, со всеми ихъ оттенками, какъ-будто-бы никогда и не знавалъ о другихъ,-и вынесь изъ нея вымышленную быль, которая достов вриње всякой действительности, несомитини ве всякой исторіи. И подлинно, этой пъсни можно заслушаться, и все нельзя ея довольно наслушаться: какъ маніемъ волшебнаго скипетра воскрещасть она прошедшее — и мы не можемъ насмотръться на него, забываемъ для него свое настоящее, ни на минуту не сводимъ съ него взоровъ, боясь, чтобъ оно не исчезло отъ насъ: На первомъ планъ видимъ мы Іоанна Грознаго, котораго намять такъ кровава и странна, которато колоссальный обликъ живъ еще въ предацін и въ фантазін народа... Что за явленіе въ нашей исторіи быль этоть «мулсь провей», какъ называетъ его Курбскій? Быль-ли онъ Людовикомъ XI нашей исторіи, какъ говорить Нараменнъ?... Не время и не мъсто распростраляться гдись о его историческомъ значении; замътимъ только, что это была сильная натура, которая требовала себъ великаго развитія для великаго подвига; но какъ условія тогдашияго полуазіатскаго быта и внъшиія обстоятельства отказали ей даже въ какомъ-нибудь развитін, оставивъ ее при естественной силъ и грубой мощи, и лишили ее всякой возможности пересоздать дъйствительность, — то эта сильная натура, этоть великій духъ поневолѣ исказились и нашли свой выходъ, свою отраду только въ безумномъ мщенін этой ненавистной и враждебной имъ дъйствительности... Тиранія Іоанна Грознаго имфеть глубокое значение, и потому она возбуждаеть къ нему скорве сожальне, какъ къ падшему духу неба, чемъ ненависть и отвращение. какъ къ муштелю... Можетъ быть, это былъ своег. рода великій челов'єкъ, но только не во-время, слишкомъ рано явившійся Россіи, — пришедшій въ міръ съ призваніемъ на великое д'бло и увидъвшій, что ему нъть дъла въ міръ: можеть быть, въ немъ безсознательно кинфли всф силы для измфненія ужасной дівіствительности, среди которой опъ такъ безвременно явился, которая не побъдила. но разбила его, и которой онъ такъ страшно метили. всю жизнь свою, разрушая и ее, и себя самого въ болъзненной и безсознательной ярости... Вотъ почему изъ всёхъ жертвъ его свиренства онъ самт. панболъе заслуживаеть соболъзнованія; воть почему его колоссальная фигура, съ бледнымъ лицомъ и вналыми, сверкающими очами, съ головы до ногъ облита такимъ страшнымъ величіемъ, нестерпимымъ блескомъ такой ужасающей поэзін... И такимъ точно является онъ въ поэмъ Лермонтова: взглядъ очен его — молнія, звукъ рѣчей его — громъ небесный, порывъ гићва его — смерть и пытка; по сквозь все это, какъ молнія сквозь тучи, проблескиваеть величіе падшаго, униженнаго, искаженнаго, но сильнаго и благороднаго по своей природъ духа...

Поэма начинается картиною царскаго пира:

въ золотомъ вёнцё своемъ сидить грозный царь, окруженный стольниками, боярами, князьями и опричниками.

> И пируетъ царь во славу Божію, Въ удовольствие свое и веселие.

Онъ велитъ наполнить золотой ковшъ заморскимъ виномъ, обнести пирующихъ — «И всѣ пили, царя славили». Лишь только одинъ изъ опричинковъ «Въ золотомъ ковшѣ не мочилъ усовъ» и сидѣлъ съ крѣпкою думою на сердцѣ. Гнѣвно взглянулъ на него царь, словно ястребъ съ высоты пебесъ на молодого голубя сизокрылаго, — «да не поднялъ глазъ молодой боецъ».

Царь стукнуль объ полъ своею палкою, съ желъзнымъ наконечникомъ; палка на четверть вонзилась въ дубовый полъ, но и туть не дрогнулъ добрый

молодецъ;

ETs (

«Hắc

опри

HOOH

оно

НИНВ

Лерг

RCOIL

еще

COME

міра

Hecc

бieн

PHY

СЪ

3BY

upo

сил

COB

11

MaI

дос

BOJ

3a0

100

HP

3ai

He

He

ML

H

t.1

30

I.; 01 E

II

Воть промолвиль царь слово грозное, И очнулся тогда добрый молодецъ. «Гей ты, върный нашъ слуга Кирибъевичъ, Аль ты думу затанлъ нечестивую? Али славъ нашей завидуень? Али служба тебъ честная прискучила? Когда всходить мъсяць — звъзды радуются, Что свётлёй имъ гулять по поднебесью; А которая въ тучку прячется, Та стремглавъ на землю падаетъ... Не прилично же тебв, Кирибвевичь, Царской радостью гнушатися; А изъ роду ты, въдь, Скуратовихъ И семьею ты вскормлень Малютиной!...»

Инзко кланяясь, опричникъ проситъ у извиненія, говоря:

> «Сердца жаркаго не залить виномъ, Думу черную — не запотчивать! А прогитвалъ я тебя — воля царская: Прикажи казнить, рубить голову; Тяготить она плечи богатырскія, И сама къ сырой землъ она клопится».

Царь распрашиваеть о причинъ печали, и его вопросы — перлы народной нашей поэзін, полнъйшее выраженіе духа и формъ русской жизни того времени. Таковъ-же и отвъть или, лучие сказать, отвъты опричинка, потому что, по духу русской національной поэзін, онъ отвъчаеть почти стихомъ на стихъ. Боясь длинноты, не вышисываемъ этого мъста; но вторая половина ръчи Кирибъевича дышетъ такой полнотой чувства, блещетъ такими самоцвътными камиями народной поэзін, что мы не можемъ удержаться, чтобы не перечесть его виъстъ съ нашими читателями. Вина нечали удалого бойца — молодушка, которая закрывается фатою, когда на нее любуются красныя дъвушки:

«На святой Руси, нашей матушкв, Не найти, не сыскать такой красавицы: Ходить плавно — будто лебедушка, Смотрить сладко -- какъ голубушка, Молвить слово — соловей пость; Горять щеки ся румяния, Какъ заря на небъ Божіемъ; Косы русыя, золотистыя, Въ ленты яркія заплетенныя, По плечамъ бъгуть, извиваются, Съ грудью бълою цълуются. Во семьъ родилась она купеческой, Прозывается Алёной Дмитревной. Какъ увижу се, я и самъ це свой: Опускаются руки смения, Помрачаются очи бойкія; Скучно, грустно мий, православный царь, Одному по свъту манться. Опостыли мив кони легкіе, Опостыли наряды парчевые И не надо мив золотой казиы: Съ къмъ казною своей подълюсь теперь? Передъ къмъ покажу удальство свое? Передъ къмъ я нарядомъ нохвастаюсь? Отпусти меня въ степи приволжскія,

Ужь сложу я тамь буйную головушку И сложу на копье басурманское; И раздёлять по себѣ злы татаровья Коня добраго, саблю острую И сёдельце бранное черкасское. Мон очи слезныя коршунь выклюеть, И безъ похоронь горемычный прахъ на четыре стороны развѣется».

I.T

 $\mathbb{I}_{\mathcal{D}}$ 

0.

H

0

Какая сильная, могучая натура! Ея страсть — лава, ея горесть тяжела и трудна; это удалое, разгульное отчаяніе, которое въ молодечествѣ, въ подвигѣ крови и смерти ищетъ своего утоленія! Сколько поэзіи въ словахъ этого опричника, какая глубокая грусть дышетъ въ нихъ, — это грусть. которая разрываетъ сильную душу, но не убиваетъ ся, это грусть, которая составляетъ основной элементъ, основную стихію, главный мотивъ нашей національной поэзін!

Со смёхомъ отвёчаеть царь своему любимому слугів, что его горю сбідів не мудрено помочь, предлагаеть ему яхонтовый перстень и жемчужное ожерелье, велить сперва поклониться «смышленной» свахів, а потомъ послать къ своей Алёнів Дмитріевнів дары драгоцівньне:

«Какъ полюбищься — празднуй свадебку, Не полюбищься — не прогитьвайся». — Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевить! Обманунь тебя твой лукавый рабъ, Не сказалъ тебъ правды истипной, Въ церкви Божіей перовънчана, Перевънчана съ молодымъ купцомъ По закону нашему христіанскому...»

Какъ ударъ грома, какъ приговоръ смерти, поражаетъ душу читателя этотъ отвѣтъ опричинка, и тщетно испуганный слухъ ждетъ, что скажетъ на это грозный царь: поэтъ опускаетъ запавѣсъ на эту его трагически-недокоцченную картину, такъ страшно прерванную сцену; передъ вами и втъ героевъ поэмы, и вы съ трудомъ в врите, что вид вли все это на яву, что все это — только разсказъ пъсенниковъ...

Ай, ребята, пойте — только гусли стройте! Ай, ребята, пейте — дѣло разумѣйте! Ужъ потѣшьте вы добраго боярина И боярыню его бѣлолицую!

Ba.

a3-

10-

A!

RJ

b ..

1.72

6-

H

У

Но этоть удалой принавь, эти затыйливыя прибаутки народнаго остроумія не веселять вась; сердце ваще сжимается болтаненной тоской: оно чусть горе, предвидить бъду; повъсть превращается для васъ въ мрачную драму, съ трагической катастрофой, и завязка уже готова, дъйствіе уже зародилось. Вы видите, что любовь Кирибъевича - не шуточное дъло, не простое волокитство, но страсть натуры сильной, души могучей. Вы понимаете, что этого человъка итъть середины: или нолучить, или погибнуть! Онъ вышелъ изъ-подъ опеки естественной правственности своего общества, а другой, болъе высшей, болье человьческой, не пріобрыль: такой разврать, такая безиравственность въ человъкъ съ сильной натурой и дикими страстями опасны и страшны. И при всемъ этомъ онъ имфеть опору въ грозномъ царъ, который никого не пожалъетъ и не пощадить, даже за обиду, не только за гибель своего любимца, хотя-бы этоть быль ріннтельно виноватъ.

Запавъсъ поднять — и передъ нами повъз къртина: молодой купецъ, статный молодецъ, Стенаиъ Парамоновичъ, по прозванию Калашниковъ, за прилавкою,

Пелковые товары распладываеть, Ръчью ласковой гостей онъ заманиваеть, Злато-серебро пересчитываеть.

Это другая сторона русскаго быта того времени; па сценъ является представитель другого класса общества. Первое его появленіе на сцену расис-

лагаеть вась въ его пользу: почему-то вы чувствуете, что это одинъ изъ тъхъ упругихъ и тяжелыхъ характеровъ, которые тихи и кротки только до тъхъ поръ, пока обстоятельства не расколыхають ихь, — одна изъ тъхъ желъзныхъ натуръ, которыя и обиды не стерпять, и сдачи дадуть. Сильнъе и сильнъе щемить ваше сердце — чуетъ оно недоброе, темъ больше, что «молодому купцу, статному молодцу» задался не добрый день:

Ходять мимо бояре богатые, Въ его лавочку не заглядывають... Отзвонили вечерни во святыхъ церквахъ; За Кремлемъ горить заря туманная, Набъгають тучки на небо,— Гонить ихъ метелица распъваючи; Опустыть пировій гостиный дворь.

Калашинковъ запираетъ свою лавочку дубовою дверью, «да пімецкимъ замкомъ со пружиною», привязываеть на желёзную цёнь зубастаго пса.

И пошель опъ домой, призадумавшись, Къ молодой хозяйкъ за Москву-ръку.

Отчего-же онъ призадумался? — Или душа человѣка чуетъ шелестъ шаговъ незримо - слѣдующей но пятамъ его судьбы, которая обрекла его въ свои

Пришедъ въ свой «высокій» домъ, Степанъ Парамоновичъ дивится, что его не встръчаютъ ни молода жена, ин малыя дътушки, что дубовый столъ не покрыть бълою скатертью и свъчка передъ образомъ еле теплится. Кличетъ онъ старуху Еремѣевну и спрашиваеть, куда въ такой поздий часъ «дѣвалась, затанлася» Алёна Дмитріевна, и не зангрались-ли его любезныя дёти, что такъ рано уложились спать? И слышить въ отвътъ:

«... Къ вечериъ пошла Алёна Дмитревна; Воть ужь попь прошель съ молодой попадьей, Засвътили свъчу, съли ужипать, -А по сю пору твоя хозяющка

Изъ приходской церкви не вернулася. А что дътки твои малыя Почивать не легли, не играть пошли— Плачемъ плачуть все, не унимаются».

Въ этихъ стихахъ полная картина домашияго быта и простыхъ, малосложныхъ, простодушныхъ семейственныхъ отношеній у нашихъ предковъ.

Смутился Степанъ Парамоновичъ крѣнкою думою.

И онъ сталъ къ окну, глядитъ на улицу,—
А на улицъ ночь темнехонька;
Валитъ бълый снъгъ, разстилается,
Ваметаетъ слъдъ человъческій
Воть онъ слышитъ, въ съняхъ дверью хлонпули,
Потомъ слышитъ шаги торопливые;
Обернулся, глядъ — сила крестная!
Передъ нимъ стонтъ молода жена,
Сама блъдная, простоволосая,
Косы русыя расилетеныя
Снъгомъ-инеемъ пересыпаны;
Смотрятъ очи мутныя, какъ безумпыя,
Уста шенчутъ ръчи непонятныя.

Онъ спращиваеть ее, гдѣ она шаталася: ужъ не гуляла-ли, не пировала-ли съ дѣтьми боярскими, что волосы ея такъ растрепаны и одежда изорвана.

«Не на то передъ святыми иконами Мы съ тобою, жена, обручалися, Золотыми кольцами мънялися!»

Онъ грозить запереть ее за дубовую дверь окованную, за желъзный замокъ, чтобъ она и свъту Божьяго не видъла, его имени честнаго не порочила.

Какъ осиновый листь затряслася Алёна Дмитріевна, упала мужу въ ноги, прося его выслущать ее и говоря, что она «не боится смерти лютыя, а боится его немилости»: въ двѣнадцати стихахъ полная картина супружескихъ отношеній варварскаго времени! Жена разсказываетъ мужу, что, шедши отъ вечерни домой, услышала за собою чьи-то шаги, «оглянулася — человѣкъ бѣжитъ»; этотъ человѣкъ схватилъ ее за руки, говоря ей, что онь слуга царя грознаго, прозывается Кирибфеви-

«Испугалась я пуще прежияго; Закружилась моя бъдная головушка. И онъ сталъ меня цъловать-ласкать, А цълуя, все приговариваль: — «Отвъчай мнъ, чего тебъ надобно, Моя милая, драгоцвиная! Хочешь золота, али жөмчугу? Хочешь яркихъ камней, аль цвътной парчи? Какъ царицу я наряжу тебя, Стануть всв тебв завидовать, Лишь не дай мив умереть смертью гръщною: Полюби меня, обними меня Хоть единый разъ на прощание!» И ласкаль-онь меня, цъловаль меня: На щекахъ моихъ и теперь горять, Живымъ пламенемъ разливаются Поцълуи его окаянные... А емотръли въ калитку сосъдушки, Смъючись, на насъ пальцемъ показывали...»

Рванувшись изъ рукъ его, она оставила у него свою фату бухарскую и узорный платокъ, — подарочекъ мужа. Заключеніе ея разсказа состонть въ жалобахъ на свой позоръ и въпросьбахъ мужу— не дать ее, свою върную жену, въ поруганіе злымъ охудьникамъ. Тогда Степанъ Парамоновичъ посылаеть за своими двумя меньшими братьями и разсказываетъ объ обидъ, нанесенной ему злымъ опричинкомъ царскимъ,

«А такой обиды не стерпъть душъ, Да не вынести сердцу молодецкому!»

говорить имъ о своемъ намфреніи — биться на смерть съ опричникомъ ца кулачномъ бою, который будеть завтра- на Москвѣ-рѣкѣ, при самомъ царѣ, и проситъ ихъ постоять за правду, если самъ будеть нобить.

И въ отвътъ ему братья молвили: «Куда вътеръ дуеть въ поднебесьи,

Туда мчатся тучки послушныя;
Когда сизый орель зоветь голосомъ
На кровавую долину побонща,
Зоветь пиръ пировать, мертвецовъ убирать,
Къ нему малые орлята слетаются:
Ты нашъ старшій брать, намъ второй отецъ;
Дёлай самъ, какъ знаешь, какъ вѣдаешь,
А ужъ мы тебя, родимаго, не выдадимь».

Пэт этого отвёта видно, что семья Калашниковых хоть и не славилась столько, какъ Малютина, но состояла изъ сизаго орла съ орлятами... Превосходио очеркнулъ поэтъ въ этомъ отвётё, будто мимоходомъ, и простоту родственныхъ отношеній нашихъ предковъ, гдё право первородства было и правомъ власти, гдё старшій братъ заступалтмёсто отца для младшихъ. И это сдёлано имъ не въ описаніи, а въ живой картинё, въ самомъ разгарт въ высшей степени драматическаго действія. Этой сценой семейнаго совъщанія оканчивается вторая часть драматической поэмы: действующія лица и завязка действія уже рёзко обозначились, — и сердце наше замираетъ отъ предчувствія горестной развязки...

Надъ Москвой великой, златоглавою,
Надъ стъной кремлевской бълокаменной,
Изъ-за дальнихъ лъсовъ, изъ-за синихъ горъ,
Но тесовымъ кровелькамъ играючи,
Тучки стрия разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистыя,
Умывается спъгами разсынчатыми;
Въ небо чистое смотрить, улыбается.
Ужъ зачъмъ ты, алая заря, просыналася?
На какой ты радости разыгралася!

На Москву-рѣку сходилися удалые молодцы «разгуляться для праздинка, потѣшиться». Самъ царь пріфхаль со дружиною, боярами и опричинками и велѣль оцѣпить серебряною цѣнью мѣсто въ 25 саженъ «для охотинцкаго бою одиночнаго». Потомъ царь велѣль вызвать охотинковъ: Кто нобыеть кого, того царь наградить, А кто будеть побить, тому Богь простить!

Выходить Кирибъевичь и съ похвальбою вызываетъ супротившиковъ, объщаясь «лишь потъшить царябатюшку, но для праздника отпустить живого». Вдругь раздалась толпа — и выходить Степанъ Парамоновичъ.

Поклонился прежде царю грозному, Послъ бълому Кремлю да святымъ церквамъ, А потомъ всему пароду русскому. Горять его очи соколиныя, На опричника смотрять пристально. Супротивъ него опъ становится, Боевыя рукавицы натягиваеть, Могутныя плечи распрямливаеть Да кудряву бороду поглаживаеть.

Кирибъевичъ, не выходя изъ тона своей удалой, молодецкой похвальбы, спрашиваеть Калашинкова о родъ-илемени и имени, «чтобъ знать, по комъ панихиду служить, чтобъ было чёмъ и похвастаться».

Отвъчаеть Степанъ Парамоновичъ:

«А зовуть меня Степаномь Калашниковымь;

А родился я оть честного отца,

И жилъ я по закону Господнему:

Не позориль я чужой жены,

Не разбойничаль ночью темною,

Не таился отъ свъта небеснаго...

И промолвиль ты правду истинную:

По одномъ изъ насъ будуть нанихиду пъть,

И не позже, какъ завтра въ часъ полуденный;

И одинъ изъ насъ будетъ хвастаться,

Съ удалыми друзьями пируючи... Не шутку шутить, не людей смъшить

Къ тебъ вышель я теперь, бусурманскій сынь, Вышелъ я на страшный бой, на послъдній бой!»

И услышавъ то, Кирибъевичъ

Побліднівль въ лиці, какъ осенній снівгь;

Бойки очи его затуманились,

Между сильныхъ плечъ пробъжаль морозъ,

На раскрытыхъ устахъ слово замерло...

Воть оно — ужасное торжество совъсти въ глубокой натуръ, которая никогда не отръшится отъ совъсти, какъ-бы ни была искажена развратемъ, какъ-бы ни страшно погрязла въ порокъ!... Всегда надънею грозная длаць правственнаго закона, грозный голосъ суда Божія, потому что она сама — свой нравственный законъ и свой неумолимый судъ!...

Начался бой (мы пропускаемъ его подробности);

правая сторона побъдила.

И опричникъ молодой застоналъ слегка, Закачался, упалъ за-мертво, Повалился онъ на холодный спътъ, на холодный спътъ, будто сосенка, Будто сосенка, во сыромъ бору Подъ смолистый подъ корень подрубленная.

Не правда-ли: вамъ жаль удалого, котя и преступнаго бойца? съ невыразимой тоской повторите вы за поэтомъ жалобную мелодію, которой выразиль онь его наденіе?... А между тѣмъ вы-же сами желали побъды благородному купцу и гносли его преступному оскорбителю?..., Таково обаяніе великихъ натуръ; какъ-бы ин было велико ихъ преступленіе, но, паказанныя, онт привлекаютъ все удивленіе и всю любовь нашу: — мы видимъ въ нихъ жертвы неотразимой судьбы, и братскимъ поцълуемъ прощанія и прощенія въ холодныя, посинълыя уста ихъ запечатлъваемъ торжество возстановленной смертью гармоніи общаго, которую царушили было опть своей виной...

Грозный царь воспалился гитвомъ и спращиваеть Калашникова: вольною волею или нехотя убиль онь его втриаго слугу и лучшаго бойца? Втроятно Калашниковъ могъ-бы еще спасти себя ложью, но для этой благородной души, дважды такъ страшно потрясенной— и позоромъ жены, разрушившимъ его семейное блаженство, и кровавой местью врагу, невозвратившей ему прежняго блаженства,— для этой благородной души жизнь уже

не представляла ничего обольстительнаго; а смерть казалась необходимой для уврачеванія ея нейсцълимыхъ ранъ... Есть души, которыя довольствуются кое-чыть — даже остатками быхшаго счастья; но есть души, лозунгь которыхъ — все или ничего. которыя не хотять запятнаннаго блаженства разъ потемненной славы: такова была и душа удалого статнаго молодца, Степана Парамоновича Калашникова! Онъ сказалъ царю всю правду, скрывъ, однако, причину своего мщенія:

«А за что, про что — не скажу тебъ!

Скажу только Богу единому!» Какая дивная черта глубокаго знанія сердца человъческаго и древнихъ правовъ! Какая высокая трагическая черта! Онъ охотно идеть на казнь и лишь просить царя «не оставить своей милостью малыхъ дётушекъ, молодой жены да двухъ братьевъ его». Въ отвътъ царя ръзко, во всемъ страшномъ величін выказывается колоссальный образъ Грознаго:

«Хорошо тебъ, дътинушка, Удалой боецъ, сыпъ купеческій, Что отвътъ держалъ ты по совъсти. Молодую жену и сиротъ твоихъ Изъ казны моей я пожалую, Твоимъ братьямь велю оть сего же дия По всему царству русскому широкому Торговать безданно, безпошлинно, А ты самъ ступай, дътинушка, На высокое м'всто лобное, Сложи свою буйную головушку. Я топоръ велю наточить - навострить, Палача велю од'вть - нарядить, Чтобы знали всв люди московскіе, Что и ты не оставленъ моей милостью...»

Какая жестокая пропія, какой ужасный сарказмъ! и мертвый содрогнулся-бы отъ него во гробъ! А между тъмъ въ согласіи на милость женть, покровительствъ дътямъ и братьямъ осуждениаго проблескивають лучь благородства и величія царственной натуры и какъ-бы невольное признаніе достоинства человіка, который обреченъ судьбою безвременной и насильственной смерти!... Какая страшная трагедія! сама судьба, въ лицѣ Грознаго, присутствуетъ предъ нами и управляетъ ея ходомъ!... И едва-ли во всей исторіи человітества можно найти другой характеръ, который могъ-бы съ большимъ правомъ представлять лицо судьбы, какъ Іоаннъ Грозный!...

На площади собирается народъ; гудить-воетъ заунывный колоколъ; по высокому лобному мъсту весело похаживаетъ палачъ, руки голыя потираючи:

Удалова бойца дожидается; А лихой боець, молодой купець,— Съ родными братьями прощается.

Онъ велить имъ поклониться отъ него Алёнъ Дмитріевив да заказать ей меньше печалиться, а дътушкамъ про него не велить сказывать...

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка безталанная
Во крови на плаху покатилася.
Схоронили его за Москвой - ръкой,
На чистомъ нолъ, промежъ трехъ дорогъ:
Промежъ Тульской, Рязанской, Владимірской,
И бугоръ земли сырой туть насынали,
И кленовый кресть туть поставили.
И гуляють - шумять вътры буйные
Надъ его безыменной могилою.

И воть, занавёсь опустился, трагедія кончилась, колоссальные образы ея героевъ исчезли изъ глазъ нашихъ, прошедшее стало опять прошедшимъ—

И что жъ осталось Оть сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей, Столь полныхъ волею страстей?

Что? — могила, жилище тлѣнія и смерти; по надъ этой могилой вѣеть жизнь, царить воспоминаніе, цѣмой рѣчью говорить преданіе: И проходять мимо люди добрые: Пройдеть старъ человъкъ — перекрестится, Пройдеть молодецъ — пріосанится, Пройдеть дъвица — пригорюнится, А пройдуть гусляры — споють пъсенку.

Какія роскошныя дани, какія богатыя жертвы приносятся этой могилъ живыми! И она стоптъ ихъ, ибо не живые въ ней, мертвой, — но она, мертвая, рождаеть жизнь въ живыхъ, заставляетъ ихъ и креститься, и пріосаниваться, и пригорюниваться, и пъть пъсни!... Васъ огорчаетъ, заставляеть страдать горестная и страшная участь благороднаго Калашинкова; вы жалъете даже и о преступномъ опричинкъ: — понятное, человъческое чувство! Но безъ этой трагической развязки, которая такъ печалитъ ваше сердце, не было-бы и этой могилы, столь краснорфиной, столь живой, столь полной глубокаго значенія, и не было-бы великаго подвига, который такъ возвысиль вашу душу, и не былс-бы чудной пъсни поэта, которая такъ очаровала васъ... И потому да перемъннтся печаль ваша на радость, и да будеть эта радость свътлымъ торжествомъ побъды безсмертнаго надъ смертнымъ, общаго надъ частнымъ! Благословимъ непреложные законы бытія и міродержавныхъ судебъ и повторимъ за поэтомъ музыкальный финалъ, которымъ, но старинному и достохвальному русскому обычаю, заставляеть онъ гусляровъ заключить свою поэтическую пъсню:

> Гей вы, ребята удалые, Гусляры молодые, Голоса заливные!

Красно начинали — красно и кончайте, Каждому правдою и честію воздайте. Тароватому боярину слава!

Тароватому ооярину слава! И красавицъ боярынъ слава! И всему народу христіанскому слава!

Излагая содержаніе этой поэмы, уже изв'єстной

публикѣ, мы имѣли въ виду намекцуть на богатство ея содержанія, на полноту жизни и глубокость иден, которыми она запечатлѣна; что-же до ноззін образовь, роскоши красокъ, прелести стиха, избытка чувства, охватывающаго душу огненными волнами, свѣжести колорита, силы выраженія, трепетнаго, полнаго страсти одушевленія, — эти вещи не тол-куются и не объясняются... Мы выписали цѣлую часть поэмы, — пусть читають и судять сами: кто не увидить въ этихъ стихахъ того, что мы видимъ, для тѣхъ нѣтъ у насъ очковъ, и едва-ли какой

онтикъ въ мірѣ поможеть имъ...

Содержаніе поэмы, въ смысл'є разсказа происшествія, само но себъ полно поэзін; если-бы оно было историческимъ фактомъ, въ немъ жизнь являлась-бы поззіей, а поэзія жизнью. Но тімь не менте онъ не существоваль-бы для насъ, нашли-бы мы его въ простодушной хроникъ старыхъ временъ, или. но какому-инбудь чуду, сами были его свидателями,оно было-бы для насъ мертвымъ матеріаломъ, въ который только поэть могъ-бы вдохнуть душу живу, отдъливъ отъ него все случайное, произвольное, и представивъ его въ гармоническомъ цѣломъ, поставденномъ и осв'вщенномъ сообразно съ требованіями точки зр'внія и св'вта. И въ этомъ отношенін нельзя довольно надивиться ноэту: онъ является здёсь опытнымъ, геніальнымъ архитекторомъ, который умветь такъ согласить между собою части зданія. чго ни одна подробность въ украшеніяхъ не кажется лишней, по представляется необходимой и равно важной съ самыми существенными частями зданія, хотя вы и понимаете, что архитекторъ могъ-бы легко, вмѣсто нея, сдѣлать и другую. Какъ ин пристально будете вы вглядываться въ ноэму Лермонтова, не найдете ин одного лишилго или недостающаго слова, черты, стиха, образа, ни одного слабаго м'яста: все въ ней необходимо, полно. сильно! Нашъ поэтъ вощедъ въ нарелво наролности

какъ ея полный властелинъ, и, проникнувшись ея духомъ, слившись съ нею, онъ ноказалъ только свое родство съ нею, а не тождество: даже въ минуту творчества онъ видълъ ее предъ собою, какъ предметь, и такъ-же по волъ своей вышель изъ нея въ другія сферы, какъ и вошель въ нее. Онъ показаль этимъ только богатство элементовъ своей поэзін, кровное родство своего духа съ духомъ пародности своего отечества; показаль, что и прошедшее его родины такъ-же присуще его патуръ, какъ и ея настоящее; и потому онъ въ этой поэмъ является не безыскусственнымъ пѣвцомъ народности, но истиннымъ художникомъ, — и если его поэма не можеть быть переведена ни на какой языкъ, ибо колорить ея весь въ русско-народномъ языкъ, то тъмъ не менъе она - художественное произведение, во всей полнотъ, во всемъ блескъ жизии, воскресившее одинъ изъ моментовъ русскаго быта, одного изъ представителей древней руси. Въ этомъ отнощенін послѣ Бориса Годунсьь больше всѣхъ посчастливилось Іоаниу Грозпому: въ поэмѣ Лермонтова колоссальный образъ его является извалинымъ изъ мѣди или мрамора...

Черезъ годъ послѣ напечатанія «Пѣсин про царя Пвана Васильевича, молодого опричинка и удалого купца Калашникова» Лермонтовъ снова вышелъ на арену литературы съ стихотвореніемъ «Дума», изумившимъ всѣхъ алмазной крѣпостью стиха, громовой силой бурнаго одушевленія, исполинскою эпергією благороднаго негодованія и глубокой грусти. Съ тѣхъ поръ стихотворенія Лермонтова стали являться один за другими безъ перемежки, и съ его именемъ.

Поэть говорить о новомъ поколёніи, что онь смотрить на него съ печалью, что его будущее «иль пусто, иль темно», что оно должно состарёться подъ бременемъ познанья и сомиёнья; укоряеть его, что оно изсушило умъ безплодной

наукой. Въ этомъ пельзя согласиться съ поэтомъ: сомивные — такъ; но излишества познанія и науки, хотя-бы и «безилодной», мы пе видимъ: папротивъ, недостатокъ познанія и науки принадлежить къбользиямъ нашего покольнія:

Мы всв учились понемпогу Чему-нибудь и какъ-нибудь!

Хороно-бы еще, если-бъ, въ замѣнъ утраченной жизни, мы насладились хоть знаніемъ: былъ-бы хоть какой-нибудь выпрынть! По сильное движеніе общественности сдѣлало насъ обладателями знаніл безъ труда и ученія— и этотъ илодъ безъ корня, надо признаться, пришелся намъ горекъ; онъ только пресытилъ насъ, а не напиталъ, притупилъ нашъ вкусъ, но не усладилъ его. Это обыкновенное и и необходимое явленіе во всѣхъ обществахъ, вдругь вступающихъ изъ естественной непосредственности въ сознательную жизнь, не въ пѣдрахъ ихъ возросшую и созрѣвшую, не въ пѣдрахъ ихъ возросшую и созрѣвшую, не въ пѣдрахъ ихъ возросшую и созрѣвшую, не въ пѣдрахъ ихъ возрышных народовъ. Мы въ этомъ отношеніи— безъ вниы виноваты!

Богаты мы, едва изъ колыбели, Ошибками отцовъ и позднимъ ихъ умомъ, И жизнь ужъ насъ томить, какъ ровный путь безъ цёли, Какъ пиръ на праздникъ чужомъ!

Какая върная картина! Какая точность и оригинальность въ выражении! Да, умъ отцовъ нашихъ для насъ — поздній умъ: великая истина!

И пенавидимъ мы, и любимъ мы случайно, Инчъмъ не жертвуя ни злобъ, ни любви, И парствуеть въ душъ какой-то холодъ тайный Когда огонь кипить въ крови! И предковъ скучны намъ роскошныя забавы, Ихъ легкомысленный, ребяческій разврать; И къ гробу мы спъшимъ безъ счастья и безъ славы, Глядя насмъщливо назадъ. Толпой угрюмою и скоро позабытой Надъ міромь мы пройдемь безъ шума и слъда, Не бросивши въкамъ ни мысли плодовитой, Ни геніемъ начатаго труда. И прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражда-

Потомокъ оскорбить презрительнымъ стихомъ, Насмѣщкой горькою обманутаго сына Надъ промотавшимся отцомъ!

Эти стихи писаны кровью; они вышли изъ глубины оскорбленнаго духа: это вопль, это стонъ человъка, для котораго отсутствіе впутрецней жизни есть зло, въ тысячу разъ ужасивіниее физической смерти!... И кто-же изъ людей новаго поколънія не найдеть въ немъ разгадки собственнаго унынія, душевной апатін, пустоты внутреннеей и не откликнется на него своимъ воплемъ, своимъ стономъ?... Если подъ «сатирою» должно разумъть не невинное зубоскальство веселенькихъ остроумцевъ, а громы негодованія, грозу духа, оскорбленнаго позоромъ общества, — то «Дума» Лермонтова есть сатира, и сатира есть законный родъ поэзіп. Если сатиры Ювенала дышатъ такой-же бурей чувства, такимъ-же могуществомъ огненнаго слова, то Ювеналъ дъйствительно великій поэть!...

Другая сторона того-же вопроса выражена въ стихотворени «Поэтъ». Обделанный въ золото галантерейной игрушкой кинжалъ наводитъ поэта на мысль о роли, которую это орудіе смерти и мщенія играло прежде... А теперь?... Увы!

Никто привычною, заботливой рукой Его не чистить, не ласкаеть.

И надписи его, молясь передъ зарей, Никто съ усердьемъ не читаетъ...

Въ нашъ въкъ изиъженный не такъ-ли ты, поэтъ, Свое утратилъ назначенье,

На злато помѣнявъ ту власть, которой свъть Винмалъ въ пъмомъ благоговѣньи?

Бывало, мёрный звукъ твонхъ могучихъ словъ Воспламенялъ бойца для битвы;

Онъ нуженъ быль толпъ, какъ чаша для пировъ, Какъ онміамъ въ часы молитвы!

Твой стихъ какъ Божій духъ носился надъ толной, II отзывъ мыслей благородныхъ

Во дин торжествъ и бъдъ народныхъ.

Но скученъ намъ простой и гордый твой языкъ, Насъ тъшуть блестки и обманы;

Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привыкъ Морщины прятать подъ румяны...

Проснешься-ль ты опять, осмъянный пророкъ? Пль никогда, на голосъ мщенья,

Изъ золотыхъ ноженъ не вырвешь свой клинокъ, Покрытый ржавчиной презрънья?...

Воть опо, то бурное одущевленіе, та тренещущая, изнемогающая оть полноты своей страсть, которую Гегель называеть въ Шиллеръ наоосомъ!... Исть, хвалить такіе стихи можно только стихами, и притомъ такими-же... А мысль?... Мы не должны здъсь искать статистической точности фактовъ: но должны видъть выраженіе поэта, — и кто не признаеть, что то, чего онъ требуеть оть поэта, составляеть одиу изъ обязанностей его служенія и призванія? Но есть-ли это характеристика поэта — характеристика благороднаго Шиллера?...

«Не върь себъ» есть стихотвореніе, составляющее тріумвирать съ двумя предшествовавшими. Въ немъ поэть рѣшаеть тайну истиннаго вдохновенія. открывая источникь ложнаго. Есть поэты, пишущіе въ стихахъ и въ прозѣ, и кажется, удивительно какъ сильно и громко, но чтеніе которыхъ дѣйствуеть на душу какъ угаръ или тяжелый хмель, и ихъ произведенія, особенно увлекающія молодость, какъ-то скоро испаряются изъ головы. У этихъ людей нельзя отнять дарованія и даже вдохновенія, по

Въ немъ признака небесъ напрасно не ищи: То кровь кипитъ, то силъ избытокъ!...

Со времени появленія Пушкина въ нашей литературь показались какія-то неслыханныя прежде жалобы на жизнь, пошло въ обороть новое слово «разочарованіе», которое теперь уже успьло сдылаться и старымъ и приторнымъ. Элегія смышла оду и стала господствующимъ родомъ поэзіи. За поэтами даже и плохіе стихотворцы начали воспывать

Погибщій жизни цвъть Безъ малаго въ восьмнадцать лъть.

Яспо, что это была эпоха пробужденія нашего общества къ жизни: литература въ первый разъеще начала быть выраженіемъ общества. Это новое направленіе литературы вполит выразилось въ дивномъ созданіи Пушкина — «Демонъ». Это демонъсомитнія, это духъ размышленія, рефлексін, разрушающей всякую полноту жизни, отравляющей всякую радость. Странное дто: пробудилась жизнь, и съ нею объ руку пошло сомитніе — врать жизни! «Демонъ» Пушкина съ ттть поръ остался у пасъвтинымъ гостемъ и съ злой, насмъщливой улыбкой показывается то туть, то тамъ... Мало этого: онъ привезъ другого демона, еще болте стращиаго, болте перазгаданнаго, высказавшагося въ стихотвореніи Лермонтова:

И скучно, и грустно, и некому руку подать Въ минуту душевной невзгоды...

Желанья!... Что пользы напрасно и въчно желать...

А годы проходять — всв лучшіе годы:

Любить... но кого же?... На время— не стоить труда, А въчно любить невозможно.

Въ себя-ли заглянешь? — тамъ прошлаго нътъ и слъда;

И радость, и мукн, и все тамъ ничтожно!... Что страсти? — въдь рано иль поздно ихъ сладкій педугъ

Исчезнеть при словъ разсудка, И жизнь — какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вокругъ —

Такая пустая и глупая шутка...

Страшенъ этотъ глухой могильный голосъ подземнаго страданія, пездішней муки, этоть потрясающій душу реквіемъ всёхъ надеждъ, всёхъ чувствъ человіческихъ, всъхъ обаяній жизни! Отъ него содрогается человическая природа, стынеть кровь въ жилахъ, и прежий свътлый образъ жизни представляется отвратительнымъ скелетомъ, который душить насъ въ своихъ костяныхъ объятіяхъ, улыбается своими костяными челюстями и прижимается къ устамъ нащимъ! Это не минута духовной дисгармонін, сердечнаго отчаяція: это — похоронная пъсня всей жизни! Кому не знакомо по опыту состояние духа, выраженное въ ней, въ чьей натуръ не скрывается тость ея страниныхъ диссонансовъ, — тв јечно увидятъ въ ней не больше, какъ маленькую пьску грустнаго содержанія, и будуть правы; но тоть, кто не разъ слышаль внутри себя ея могильный напъвъ, а въ ней увидълъ только художественное выражение давно знакомаго ужаснаго чувства, тотъ припишеть ей слишкомъ глубокое значение, слишкомъ высокую цёну; дасть ей почетное мёсто между ведичаниими созданіями поэзін, которыя когда-либо, подобно свъточамъ Эвменидъ, освъщали бездонныя пропасти человического духа... И какая простота въ выраженій, какая естественность, свобода въ стихв! такъ и чувствуень, что вся пьеса мгновенно излилась на бумагу сама собою, какъ потокъ давно уже накинфвинхъ, какъ струя горячей крови изъ раны, съ которой вдругъ сорвана перевязка...

Вспомните «Героя Нашего Времени», вспомните Печорина — этого страннаго человъка, который, съ одной стороны, томится жизнью, презираетъ и ее, и самого себя, не въритъ ни въ нее, ни въ самого себя, носитъ въ себъ какую-то бездонную пропасть желаній и страстей, ничъмъ ненасытимыхъ, а съ другой стороны — гонится за жизнью, жадно ловить ея внечатлѣнія, безумно упивается ея обая-

ніями: вспомните его любовь къ Бэлѣ, къ Вѣрѣ, къ княжиѣ Мери, и потомъ поймите эти стихи:

Любить... но кого же?... на время не стоить труда: А въчно любить невозможно!

Да, невозможно! Но зачёмъ-же эта безумная жажда любви, къ чему эти гордые идеалы вёчной любви, которыми мы встрёчаемъ нашу юность, эта гордая вёра въ неизмёняемость чувства и его дёйствительность?... Мы знаемъ одну пьесу, которой содержаніе высказываетъ тайный недугъ нашего времени, и которая за нёсколько лётъ передъ тёмъ казалась-бы даже безсмысленной, а теперь для многихъ слишкомъ много-знаменательна. Вотъ она:

Я не люблю тебя: мнв суждено судьбою Не полюбивши разлюбить; Я не люблю тебя: больной моей душою Я никого не буду здвсь любить. О, не кляни меня! Я обмануль природу, Тебя, себя, когда, въ волшебный мигь, Я сердце праздное и бъдную свободу Повергь въ слезахъ у милыхъ ногъ твоихъ. Я не люблю тебя, но, полюбя другую, Я презиралъ бы горько самъ себя; И, какъ безумпый, я и плачу, и тоскую, И все о томъ, что не люблю тебя!...

Неужели прежде этого пе бывало? Или, можеть быть, прежде этому пе придавали большой важности: пока любилось — любили; разлюбилось — не тужили; даже соединяясь какъ-бы по страсти теми узами, которыя навсегда рёшають участь двухъ существъ, и потомъ увидёвъ, что ониблись въ свремъ чувствъ, что не созданы одинъ для другого, вмёсто того, чтобъ приходить въ отчаяніе отъ страшныхъ цёпей, предавались лёнивой привычке, свыкались и равнодушно изъ сферы гордыхъ идеаловъ, полноты чувства нереходили въ мирное и почтенное состояніе пошлой жизни?... Вёдь, у всякой эпохи свой характеръ!... Можетъ быть, люди нашего времени слишкомъ мно-

гаго требують отъ жизни, слишкомъ необузданио предаются обаяніямъ фантазін, такъ что послѣ ихъ роскошныхъ мечтаній дійствительность кажется имъ уже слишкомъ безцвътной, блъдной, холодной и пустой?... Можеть быть, люди нашего времени СЛИШКОМЪ серьезно смотрять на жизнь, дають слишкомъ большое значение чувству?... Можеть быть, жизнь представляется имъ какимъ-то высокимъ служеніемъ, священнымъ тапиствомъ, и они лучше хотятъ совсъмъ не жить, нежели жить какъ живется?... Можеть быть, они слишкомъ примо смотрять на вещи, слишкомъ добросовъстны и точны. въ названін вещей слишкомъ откровенны насчеть самихъ себя: протяжно зъвая, не хотятъ называть себя энтузіастами, и ши другихъ, ни самихъ себя не хотять обманывать ложными чувствами и становиться на ходули?... Можеть быть, они слишкомъ совъстливы и честны въ отпошеніи къ участи другихъ людей и, объщавъ другому существу любовь и блаженство, думають, что непременно должны дать ему и то, и другое, а не видя возможности нсполнить это, предаются тоскъ и отчаянію?... Или. можеть быть, лишенные сочувствія съ обществомъ, сжатые его холодными условіями, они видять, что не въ пользу имъ щедрые дары богатой природы. глубокаго духа, и представляють собою младенца въ англійской бользии?... Можеть быть — чего не можеть быть!...

«И скучно, и грустно» изъ всёхъ ньесъ Лермонтова обратила на себя особую непріязнь стараго поколёнія. Странные люди! имъ все кажется, что позія должна выдумывать, а не быть жрицею истины, тёшить побрякушками, а не гремёть правдою? Имъ все кажется, что люди — дёти, которыхъ можно заговорить прибаутками или утёшать сказочками! Они не хотять понять, что если кто кое-что знаеть, тоть смёстся надъ увёреніями и поэта, и моралиста, зная, что они сами имъ

не в в рять. Такія правдивыя представленія того, что есть, кажутся нашимь чудакамь безправственными. Питомцы Бульи и Жанлись\*), они думають, что истина сама по себ не есть высочайшая правственность... Но воть самое лучшее доказательство ихъ д в тскаго заблужденія: изъ того-ж самаго духа поэта, изъ котораго вышли такіе безотрадные, леденящіе сердце челов в ческое звуки, изъ того-же самаго духа вышло и стихотвореніе «Въ минуту жизни трудную» — эта молитвенная, елейная мелодія надежды, примирснія и блаженства въ жизни жизнію.

Другую сторону духа нашего поэта представляеть его превосходное стихотвореше «Памяти А. И. О—го»: это сладостная мелодія какихъ-то глубокихъ, но тихихъ думъ, чувства сильнаго, но цёломудреннаго, замкнутаго въ самомъ себѣ... Есть въ этомъ стихотвореши что то кроткое, задушевное, отрадноуспоконвающее душу... И какою грандіозною, гармонирующею съ тономъ цёлаго картиною заключается это стихотвореніе: вотъ истипно безконечное и въ мысли, и въ выраженіи; вотъ то, что въ эстетикѣ должно разумѣть подъ именемъ высокаго (sublime)...

Не выписываемъ чудной «Молитвы», въ которой поэтъ поручаетъ Матери Божіей, «теплой заступницъ холоднаго міра», невинную дѣву. Кто-бы ни была эта дѣва — возлюбленная - ли сердца, или милая сестра — не въ томъ дѣло; но сколько кроткой задушевности въ тонѣ этого стихотворенія, сколько иѣжности безъ всякой приторности; какое благо-уханпое, теплое, женственное чувство! Все это трогаетъ въ голубиной натурѣ человѣка; но въ духѣ мощномъ и гордомъ, въ натурѣ львиной — все это больше, чѣмъ умилительно... Изъ какихъ богатыхъ

<sup>\*)</sup> Жанъ Бульи (1763—1842) французскій драматургъ; Стефани Жанлисъ (1746—1830) извъстная французская писательница.

элементовъ составлена поэзія этого человѣка, какими разнообразными мотнвами и звуками гремять и льются ея гармоніи и мелодін! Воть ньеса, означенная рубрикою «1-ое января»; читая ее, мы онять входимъ въ совершенно новый міръ, хотя и застаемъ въ ней все ту-же думу, то-же сердце, словомъту-же личность, какъ и въ прежнихъ. Поэтъ говорить, какъ часто, при шумѣ пестрой толпы, среди мелькающихъ вокругъ него бездушныхъ лицъ, «стянутыхъ приличьемъ масокъ», когда «холодныхъ рукъ его съ небрежной смѣлостью касаются «давно безтрепетныя» руки молодыхъ красавицъ, какъ часто воскресаютъ въ немъ старинныя мечты, святые звуки погибшихъ лѣтъ...

И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ Родныя все мъста: высокій барскій домъ И садъ съ разрушенной теплицей; Зеленой сътью травъ подернуть спящій прудъ, А за прудомъ село дымится — и встають Вдали туманы надъ полями. Въ аллею темную вхожу я; сквозь кусты Глядить вечерній лучь, и желтые листы Шумять подъ робкими шагами.

Только у Пушкина можно найти такія картины въ этомъ родѣ! Когда-же, говоритъ онь, шумъ людской толиы «спугнетъ мою мечту»—

О, какъ мив хочется смутить веселость ихъ, И дерзко бросить имъ въ глаза желвзный стихъ, Облитый горечью и злостью!...

Если-бы пе всё стихотворенія Лермонтова были одинаково лучшія, то это мы назвали-бы одинми изъ лучшихъ.

«Журналисть, Читатель и Писатель» напоминаеть и идеей, и формой, и художественнымъ достониствомъ «Разговоръ кингопродавца съ поэтомъ» Пупскина. Разговорный языкъ этой пьесы — верхъ совершенства; рёзкость сужденій, топкая и ёдкая насм'єнка, оригинальность и поразительная в'єрность.

взглядовъ и замѣчаній — изумительны. Исповѣдь поэта, которой оканчивается пьеса, блестить слезами, горить чувствомъ. Личность поэта является въ этой исповѣди въ высшей степени благородной.

«Ребенку» — это маленькое лирическое стихотвореніе заключаєть въ себѣ цѣлую повѣсть, высказанную намеками, но тѣмъ не менѣе понятную. О, какъ глубоко поучительна эта повѣсть, какъ сильно потрясаеть она душу!... Въ ней глухія рыданія обманутой любви, стоны исходящаго кровью сердца, жестокія проклятія, а потомъ, можетъ быть, и благословеніе смирённаго испытаціемъ сердца женщины... Какъ я люблю тебя, прекрасное дитя! Говорятъ, ты нохожъ на нее, и хоть страданія нэмѣнили ее прежде времени, но ся образъ въ моемъ сердцѣ...

А ты, ты любишь ли меня? Не скучны-ли тебъ непрошенныя ласки? Не слишкомъ часто-ль я твои цёлую глазки? Слеза моя ланить твоихъ по обожгла-ль? Смотри жъ, не говори ни про мою печаль, Ни вовсе обо мив. Къ чему? Ее, быть можеть, Ребяческій разсказъ разсердить иль встревожить, Но мит ты все повтрь. Когда въ вечерній часъ, Предъ образомъ съ тобой заботливо склонясь, Молитву дътскую она тебъ шептала II въ знаменье креста персты твои сжимала, II всв знакомыя, родныя имена Ты повторяль за ней, -скажи: тебя она Ни за кого еще молиться не учила? Блъднъя, можетъ быть, она произносила Названіе, теперь забытое тобой... Не вспоминай его... Что имя? — Звукъ пустой! Дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось тайной. Но если какъ-нибудь, когда-нибудь, случайно Узнаешь ты его, — ребяческіе дни Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

Поэтическая мысль можеть иногда родиться и вследстве какого-нибудь изъ техъ обстоятельствъ.

которыхъ слагается наша жизнь; но чаще всего и почти всегда она есть не что иное, какъ случай дёйствительности въ возможности, и потому въ поэзін не имъетъ инкакого мъста вопросъ: «было-ли это?» но она всегда должна положительно отвѣчать на вопросъ: «возможно-ли это, можеть-ли это быть въ дѣйствительности?» Самое обстоятельство можеть только, такъ сказать, натолкнуть поэта на поэтическую идею и, будучи выражено имъ въ стихотворенін, является уже совствив другимъ, новымъ и небывальмъ, не могущимъ быть. Потому, чть выше таланть поэта, тымь больше находимъ мы въ его произведеніяхъ примъненій и къ собственной нашей жизни, и къ жизни другихъ людей. Мало этого: въ неиспытанныхъ нами обстоятельствахъ мы узнаемъ какъ-будто коротко знакомое намъ по опыту, - и тогда пошимаемъ, почему поззія, выражая частное, есть выражение общаго. Прочтите «Сосъда» Лермонтова, — и хотя-бы вы шикогда не были въ подобномъ обстоятельствъ, но вамъ покажется, что вы когда-то были въ заключении, любили незримаго сосъда, отдъленнаго отъ васъ стфной, прислунивались и къ мфриому звуку шаговъ его, и къ унылой пъсив его, и говорили къ нему про себя:

Я слушаю, — и въ мрачной тишнив Твои наивы раздаются...
О чемъ они, — не знаю, но тоской Исполнены, и звуки чередой, Какъ слезы, тихо льются, льются...
И лучшихъ лътъ надежды и любовь — Въ груди моей все оживаетъ вновь, И мысли далеко несутся, И полонъ умъ желаній и страстей, И кровь кипить, и слезы изъ очей, Какъ звуки, другъ за другомъ льются...

Эта тихая, кроткая грусть души сильной и крѣнкой; эти унылые, мелодические звуки, льюниеся другь за другомъ, какъ слеза за слезой; эти слезы, льющіяся одна за другой, какъ звукъ за звукомъ,-сколько въ нихъ таниственнаго, невыговариваемаго, по такъ ясно понятнаго сердцу! Здъсь поэзія становится музыкой; здёсь обстоятельство является, какъ въ оперъ, только поводомъ къ звукамъ, намекомъ на ихъ таинственное значеніе; здісь отъ случая жизни отнята вся его матеріальная, внешняя сторона, и извлечень изъ него одинъ чистый эепръ, солнечный лучь свёта, въ возможности скрывавшійся въ немъ... Выраженное въ этой пьесъ обстоятельство можеть быть фактомъ, но сама пьеса относится къ этому факту, какъ относится къ натуральной розъ поэтическая роза, въ которой итъть грубаго вещества, составляющаго натуральную розу, но въ которой только нѣжный румянецъ и кроткое ароматическое дыханіе натуральной розы...

Гармонически и благоуханно высказывается дума поэта въ пьесахъ: «Когда волнуется желтвющая инва», «Разстались мы, но твой портретъ», и «Отчего», — и грустно, болваненно въ пьесъ «Благодарность». Не можемъ не остановиться на двухъ последнихъ. Оне коротки, повидимому лишены общаго значенія и не заключають въ себе шикакой иден; но, Боже мой! какую длинную и грустную повёсть содержитъ въ себе каждое изъ нихъ! какъ опе глубоко знаменательны, какъ полны мыслью!

Мив грустно, потому что я тебя люблю, И знаю: молодость цевтущую твою Не пощадить молвы коварное гоненье. За каждый светлый день, иль сладкое мгновенье Слезами и тоской заплатишь ты судьбь. Мив грустно... потому что весело тебв.

Это вздохъ музыки, это мелодія грусти, это кроткое страданіе любви, послѣдняя дань нѣжно и глубоко любимому предмету отъ растерзаннаго и смирённаго бурей судьбы сердца!... И какая простота въ стихѣ! Здѣсь говоритъ

одно чувство, которое такъ полно, что не требуетъ поэтическихъ образовъ для своего выраженія; ему не нужно убранства, не нужно украшеній, оно говорить само за себя, оно вполив высказалось-бы и прозою...

За все, за все тебя благодарю я:

За тайныя мученія страстей,

За горечь слезь, отраву поцёлуя; За месть враговь и клевету друзей;

Ва жарь души, растраченный въ пустынъ,-

За все, чъмъ я обмануть въ жизни быль...

Устрой лишь такъ, чтобы тебя отнынъ

Недолго я еще благодариль...

Какая мысль скрывается въ этой грустной «благодарности», въ этомъ сарказмѣ обманутаго чувствомъ и жизнью сердца? Все хорощо: и тайныя мученія страстей, и горечь слезъ, и всѣ обманы жизни; но еще лучше, когда ихъ нътъ, хотя безъ нихъ и ивть инчего, что просить душа, чемь живеть она, что нужно ей, какъ масло для лампады!... Это утомление чувствомъ; сердце просить покоя и отдыха, хотя и не можеть жить безъ волненін и движенія... Въ pendant къ этой пьесъ можеть идти новое стихотвореніе Лермонтова «Зав'єщаніе»: это похоронная пфсия жизни и встмъ ея обольщеніячь, тімь болье ужасная, что ея голось не. глухой и не громкій, а холодно-спокойный; выраженіе не горить и не сверкаеть образами, по небрежно и прозаично... Мысль этой пьесы: и худое, и хорошее — все равно; сдѣлать лучше не въ нашей воль, и нотому пусть идеть себь, какъ оно хочеть... Это ужъ даже и не сарказмъ, не пропія, и не жалоба: не на что сердиться, не на что жаловаться, — все равно! Отца и мать жаль огорчить... Возлѣ шихъ есть сосъдка — она не спросить о немъ, но печего жальть пустого сердца — пусть поплачеть: въдь, это ей инпочемъ! Страшно!... Но поэзіл есть сама дъйствительность, и потому она должна быть

неумолима и безпощадна, гдв двло идеть о томъ; что есть и что бываеть... А человъку необходимо должно перейти и черезъ это состояніе духа. Въ музыкъ гармонія условливается диссонансомъ, въ духф — блаженство условинвается страданіемъ, избытокъ чувства — сухостью чувства, любовь сильная жизненность — отсутствіемъ ненавистью. жизни: это такія крайности, которыя всегда живутъ вмъстъ, въ одномъ сердцъ. Кто не печалился и не плакаль, тоть и не возрадуется, кто не больль, тоть и не выздоровфеть, кто не умираль за живо, тоть и не возстанеть... Жальйте поэта или, лучше, самихъ себя: ибо, показавъ вамъ раны своей души, онъ показалъ вамъ ващи собственныя раны; но отчанвайтесь ни за поэта, ни за человъка: въ томъ и другомъ бурю смѣняетъ вёдро, безотрадность — падежда...

Два перевода изъ Байропа — «Еврейская Мелодія» и «Въ Альбомъ», тоже выражають внутренній міръ дущи поэта. Это боль сердца, тяжкіе вздохи груди; это надгробныя надписи на памятникахъ погибшихъ

H

H

B

радостей...

«Вѣтка Палестины» и «Тучи» составляють переходь оть субъективныхъ стихотвореній нашего поэта къ чисто - художественнымъ. Въ обѣихъ пьесахъ видна еще личность поэта, по въ то-же время виденъ уже и выходъ его изъ внутренняго міра своей души въ созерцаніи «полнаго славы творепія». Первая изъ нихъ дышетъ благодатнымъ спокойствіемъ сердца, теплотой молитвы, кроткимъ вѣяніемъ святыни. О самой этой пьесѣ можно сказать то-же! что говорится въ ней о вѣткѣ Палестины:

Заботой тайною хранима,
Передъ нконой золотой,
Стоищь ты, вътвь Јерусалима,
Святыни върный часовой!
Прозрачный сумракъ, лучъ лампады,

Все полно мира и отрады Вокругъ тебя и надъ тобой...

Вторая пьеса «Тучи» полна какого-то отраднаго чувства выздоровленія и надежды и плёплеть роскошью поэтическихъ образовъ, какимъ-то избыткомъ

умиленнаго чувства.

«Русалкой» начиемъ мы рядъ чисто-художественныхъ стихотвореній Лермонтова, въ которыхъ личность поэта исчезаеть за роскошными виденіями явленій жизни. Эта пьеса покрыта фантастическим, колоритомъ и, по роскоши картинъ, богатству поэтическихъ образовъ, художественности отдълки, составляеть собою одинь изъ драгоцаннайшихъ перловъ русской поэзін. «Три нальмы» дышать знойной природой Востока, перепосять насъ на несчаныя нустыни Аравін, на ел цвфтунціе оазисы. Мысль поэта ярко выдается, — и опъ поступилъ съ нею какъ истиный поэтъ, не заключивъ своей пьесы нравственной сентенціей. Самая эта мысль могла быть опоэтизирована только своимъ восточнымъ колоритомъ и оправдана названіемъ «Восточное сказаніе : иначе она была-бы д'втской мыслью. Пластицизмъ и рельефиость образовъ, выпуклость формъ и яркій блескъ восточныхъ сказокъ сливають въ этой пьесф поэзію ст. живописью: это картина Брюлова, смотря на которую, хочешь еще и осязать ее.

«Дары Терека» есть поэтическая апооеоза Кавказа. Только роскошная, живая фантазія грековь умбла такъ олицетворять природу, давать образъ и личность ел нѣмымъ и разбросаннымъ явленіямъ. Иѣтъ возможности выписывать стиховъ изъ этой дивнохудожественной пьесы, этого роскошнаго видѣнія богатой, радужной, исполинской фантазін; иначе оншлось-бы переписать все стихотвореніе. Терекъ Каспій олицетворяють собою Кавказъ, какъ самыя рактеристическія его явленія. Терекъ сулить спію дорогой подарокъ; но сладострастно-лѣнивый баритъ-море, покоясь въ мягкихъ берсгахъ, не

внемлеть ему, не обольщаясь ни стадомъ валуновъ, ни трупомъ удалого кабардинца; по когда Терекъ сулить ему сокровенный даръ— безцѣниѣе всѣхъ даровъ вселенной, и когда

...Надъ нимъ, какъ снѣгъ бѣла, Голова съ косой размытой, Колыхаяся, всплыла,—
И старикъ во блескѣ власти Всталъ могучій какъ гроза, И одѣлись влагой страсти Темпосиніе глаза.
Онъ взыгралъ, веселья полный—И въ объятія свои Набѣгающія волны Принялъ съ ропотомъ любви...

Мы не назовемь Лермонтова ни Байрономь, ни Гётени Пушкинымь; но не думаемь сдёлать ему гиперболической похвалы, сказавь, что такія стихотворенія, какъ «Русалка», «Три Пальмы» и «Дары Терека» можно находить только у такихъ поэтовъ,

какъ Байронъ, Гёте и Пушкинъ... Не мен'ве превосходна «Казачья колыбельна» пъсня». Ея идея — мать; но поэть умъль дать индивидуальное значеніе этой общей идет: его матьказачка, и потому содержание ея колыбельной пъсив выражаеть собою особенности и оттъцки казачьяго быта. Это стихотвореніе есть художественная апооеоза матери: все, что есть святого, беззавътнате въ любви матери, весь трепеть, вся пъга, вся страсть, вся безконечность кроткой нъжности, безграничность безкорыстной преданности, какой дышита любовь матери — все это воспроизведено ноэтомт во всей полноть. Гдв, откуда взяль поэть этг простодушныя слова, эту умилительную ифжности тона, эти кроткіе и задушевные звуки, эту женственность и прелесть выраженія? Опъ видълч Кавказъ, - и намъ понятна върность его картина Кавказа; онъ не видалъ Аравіи, и ничего,

BT.

EXP GRP

re.

ep-

Xΰ-

unu

BЪ,

Ias

TTE

SHII

TIC

HO-

TE

3C.F

G3-

TT

TM

TT

TI

H:

TL

FII

TT

могло-бы дать ему понятіе объ этой странѣ палящаго солнца, песчаныхъ степей, зеленыхъ пальм'т. и прохладныхъ источниковъ, но онъ читаль ихъ описанія: какъ-же онъ такъ глубоко могъ пропикнуть въ тайны женскаго и материнскаго чувства?

«Воздушный Корабль» не есть собственно переводь изъ Зейдлица: Лермонтовъ взяль у пъмецкаго поэта только идею, но обработаль ее по-своему. Эта пьеса, по своей художесвенности, достойна великой тыми, которой колоссальный обликъ такъ грандіозно представленъ въ ней. — Какое тихо успоконтельное чувство ночи послъ знойнаго дня въетъ въ стихотворени «Горныя вершины», въ этой маленькой пьесъ Гёте, такъ граціозно переданной нашимъ поэтомъ.

Теперь намъ остается разобрать поэму Лермонтова «Мцыри». Плѣнный мальчикъ черкесъ восинтанъ былъ въ грузипскомъ монастырѣ; выросши, онъ хочетъ сдѣлаться, или его хотятъ сдѣлать монахомъ. Разъ была странная буря, во время которой черкесъ скрылся. Три дия пропадалъ онъ, а на четвертый былъ найденъ въ степи, близъ обители, слабый, больной, и умирающій перенесенъ снова въ монастырь. Почти вся поэма состоитъ изъ исповѣд о томъ, что было съ нимъ эти три дия. Давио мапилъ его къ себѣ призракъ родины, темно носившійся въ душѣ его, какъ воспоминаніе дѣтства. Онъ захотѣлъ видѣть Божій міръ— и ушелъ.

Давнымъ - давно задумалъ я
Взглянуть на дальнія поля.
Узнать, прекрасна ли земля,—
И въ часъ ночной, ужасный часъ,
Когда гроза пугала васъ,
Когда, столиясь при алтаръ,
Вы инцъ лежали на землѣ,
Я убъжалъ. О! я, какъ брать,
Обилться съ бурей быль бы радъ!
Глазами тучи я слъдилъ,
Рукою молию ловиль...

Скажи мив, что средь этихъ ствиъ Могли бы дать вы мив взамвнъ Той дружбы краткой, но живой Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?...

p

Уже изъ этихъ словъ вы видите, что за огненная и душа, что за могучій духъ, что за исполниская и натура у этого мцыри! Это любимый идеалъ нашего о поэтъ бралъ цвѣта у радуги, лучи у солнца, блескъ дличности. Во всемъ, что ни говоритъ мцыри, вѣетъ з его собственнымъ духомъ, поражаетъ его собственной и мощью. Это произведеніе субъективное.

Мысль поэмы отзывается юнощеской неэрѣлостью, м и если она дала возможность поэту разсынать нередъ м ващими глазами такое богатство самоцвѣтныхъ кампей м поэзін, — то не сама собою, а точно какъ странное содержаніе иного посредственнаго либретто даетъ у геніальному композитору возможность создать пре-

восходную оперу.

Но, несмотря на незрѣлость идеи и нѣкоторую натянутость въ содержанін «Мцырю», — подробности и изложение этой поэмы изумляють своимъ исполненіемъ. Можно сказать безъ преувеличенія, что поэть браль цвъта у радуги, лучи у солица, блескъ у молніи, грохоть у громовь, гуль у в'тровь — что вся природа сама несла и подавала ему матеріалы, когда писалъ онъ эту поэму... Кажется, поэть до того быль отягощень обременительной полнотой внутренняго чувства, жизни и поэтическихъ образовъ, что готовъ былъ воспользоваться первой мелькнувшей мыслью, чтобъ только освободиться отъ нихъ, — и опи хлынули изъ души его, какъ горящая дава изъ огнедынащей горы, какъ море дождя изъ тучи, мгновенно объявшей собою распаленный горизонть, какъ внезанно прорвавнійся яростный потокъ, поглощающій окрестность на далекое разстояніе своими сокрушительными волнами... Этоть четырехстопный ямбъ съ одними мужескими окончаніями, какъ въ «Шильонскомъ Узинсъ». зву-

чить и отрывисто надаеть, какъ ударъ меча, ножертву. Упругость, энергія и ражающаго свою звучное, однообразное паденіе его удивительно гармонирують съ сосредоточеннымъ чувствомъ, несокруная шимой силой могучей натуры и трагическимъ полокая женіемъ героя поэмы. А между тёмъ какое разноего образіе картинь, образовь и чувствь! туть и бури скъ духа, и умиленіе сердца, и воили отчаянія, и тихія еть жалобы, и гордое ожесточение, и кроткая грусть. ной и мракъ почи, и торжественное величіе утра, и блескъ полудия, и таниственное обаяние вечера!... Многія положенія изумляють своей в'трностью: таково мъсто, гдъ мцыри описываеть свое замирание подлъ едъ монастыря, когда грудь его пылала предсмертнымъ огнемъ, когда надъ усталой головой уже въяли успоконтельные сны смерти, и посились ея фантастическія видінія. Картины природы обличають кисть великаго мастера: онъ дышатъ грандіозностью и роскошнымъ блескомъ фантастическаго Кавказа. Кавказъ взялъ полную дань съ музы нашего поэта... Странное дило! Кавказу какъ-будто суждено быть колыбелью нашихъ поэтическихъ талантовъ, вдохновителемъ и пъступомъ ихъ музы, поэтической ихъ родиной! Пушкинъ посвятилъ Кавказу одну изъ первыхъ своихъ поэмъ — «Кавказскаго Плѣнника . и одна изъ послѣднихъ его поэмъ --- «Галубъ» тоже посвящена Кавказу; ивсколько превосходныхъ лирическихъ стихотвореній его также относятся къ Кавказу. Грибовдовъ создалъ на Кавказъ свое «Горе оть ума»: дикая и величавая природа этой страны, кипучая жизнь и суровая поэзія ея сыновъ вдохновила его оскорбленное человъческое чувство на изображение анатическаго, инчтожнаго круга Фамусовыхъ, Скалозубовъ, Загоръцкихъ, Хлестовыхъ, Тугоуховскихъ, Репетиловыхъ, Молчалиныхъ — этихъ каррикатуръ на природу человъческую... И воть является новый великій таланть — и Кавказь ділается его поэтической родиной, пламенно-любимой имъ; на недо-

oio,

тей

10e

ТЪ

<del>-9</del>0

yio

HT

-IL(

OTI

КЪ

OTI

Ы,

OT

ΟÏÌ

d'Z

üo

СЯ

ТЪ

pe

C-

CF

6-

H

ступныхъ вериншахъ Кавказа, вѣнчанныхъ вѣчным снъгомъ, находить онъ свой Парнасъ; въ его сви рёномъ Терекв, въ его горныхъ потокахъ, вь ек цалебныхъ источникахъ, находить онъ свой Касталь скій ключь, свою Ипокрену... Какъ жаль, что н напечатана другая поэма Лермонтова, действіе кото рой совершается также на Кавказъ, и которал въ рукописи ходить въ публикъ, какъ нъкогде ходило «Горе отъ ума»: мы говоримъ о «Демонъ». Мысль этой поэмы глубже и несравненно зрълъе. чъмъ мысль «Мцыри», и хотя исполнение ея отзывается ивкоторою незрвлостью, по роскошь картинъ. богатство ноэтическаго одушевленія, превосходны стихи, высокость мыслей, обаятельная прелесть образовъ ставитъ ее несравненио выше «Мцыри» и превосходить все, что можно сказать въ ел похвалу Это не художественное создание, въ строгомъ смыслу искусства; но оно обнаруживаетъ всю мощь таланта будущемъ великія худопоэта и объщаеть ВЪ жественныя созданія.

Говоря вообще о поэзіи Лермонтова, мы должны замѣтить въ ней одинъ недостатокъ: это иногда псясность образовъ и неточность въ выраженіи. Но мы говоримъ не больше, какъ о ияти или шести пятнышкахъ въ книгѣ Лермонтова: все остальное въ ней удивляетъ силой и тонкостью художественнаго такта, полновластнымъ обладаніемъ совершенно покореннаго языка, истинно Пушкинской точностью выраженія.

Бросая общій взглядь на стихотворенія Лермонтова, мы видимь въ нихъ всё силы, всё элементы, изъ которыхъ слагаются жизнь и поэзія. Въ этой глубокой натурё, въ этомъ мощномъ духё все живеть; имъ все доступно, все понятно; они на все откликаются. Онъ всевластный обладатель царства явленій жизни, онъ воспроизводить ихъ какъ истинный художникъ; онъ поэть русскій въ душё, — въ немъ живеть прошедшее и настоящее русской

IMI

BII

er(

ЛЬ

Ht

6TC

pas

гда

B»,

Ъе.

3FI-

ПЪ.

ны(

pa

pe-

Jy.

THE.

нта

Д0-

СНЫ

гда

ип.

CTH

90H

arv

HO-

ЪК

онгы.

ТОЙ

BCe

Bce

TBa

HH-

iion

жизни; онъ глубоко знакомъ и съ внутренцимъ міромъ души. Несокрушимая сила и мощь духа, смиреніе жалобъ, елейное благоухиніе молитвы, пламенное, бурное одушевленіе, тихал грусть, кроткая страданія, задумчивость, вопли гордаго отчаянія, таинственная ніжиность чувства, неукротимые порывы дерзкихъ желаній, цвломудренная чистота, педуги современнаго общества, картипы хмельныя обаянія жизни, УКОРЫ міровой жизни, совъсти, умилительное раскаяніе, рыданія страсти и тихія слезы, какъ звукъ за звукомъ, льющіяся въ полнотв умирённаго бурей жизни сердца, упосніе любви, трепетъ разлуки, радость свиданія, чувство матери, презрѣніе къ прозѣ жизци, безумная жажда восторговъ, полнота упивающагося роскошью бытія пламенная въра, мука душевной пустоты, стонъ отвращающаюся самого себя чувства замершей жизни, ядъ отрицанія, холодъ сомивнія, борьба полноты чувства съ разрушающей силой рефлексін, падній духъ неба, гордый демонъ и невишный младенецъ, буйная вакханка и чистая дъва — все, все въ поэзін Лермонтова: н небо и земля, н рай и адъ... По глубинъ мысли, роскоши поэтическихъ образовъ, увлекательной, неотразимой силъ поэтическаго обалиія, полнот'в жизни и типической оригинальности, по избытку силы, быощей огленнымъ фонтаномъ, его созданія напоминають собою созданія великихъ поэтовъ \*).

\* \*

Самыя первыя произведенія Лермонтова были ознаменованы печатію какой-то особенности; они не походили ни на что, являвшееся до Пушкина и нослѣ Пушкина. Трудно было выразить словомъ, что въ шихъ было особеннаго, отличавшаго ихъ

<sup>\*)</sup> Изъ статьи «Стихотворенія М. Лермонтова».

даже отъ явленій, которыя носили на себ'в отблескъ меі истиннаго и замъчательнаго таланта. Тутъ было нез все - и самобытная, живая мысль, одушевлявшая бы обаятельно-прекрасную форму, какъ теплая кровь до одущевляеть молодой организмъ и яркимъ, свѣжимъ румянцемъ проступаеть на ланитахъ юной красоты; туть была и какая-то мощь, горделиво владевшая собой и свободно подчинявшая идей своенравные порывы свои; туть была и эта оригинальность, которая, въ простотъ и естественности, открываетъ собой новые, дотол'в невиданные міры, и которая есть достояніе однихъ геніевъ; туть было много мо чего-то столь индивидуальнаго, столь тёсно соеди- и неннаго съ личностью творца, - много такого, что мы зд не можемъ иначе охарактеризовать, какъ назвавши по «Лермонтовскимъ элементомъ»... Какой избытокъ до силы, какое разнообразіе идей и образовь, чувствь ег и картинъ! Какое сильное сліяніе энергіи и граціи, но глубины и легкости, возвышенности и простоты! об Читая всякую строку, вышедшую изъ подъ пера уз Лермонтова, будто слушаень музыкальные аккорды уг и въ то-же время слъдниь взоромъ за потрясенными ка струнами, съ которыхъ сорваны они рукой не- во видимой... Туть, кажется, соприсутствуещь духомъ са таниству мысли, рождающейся изъ ощущения, какъ из рождается бабочка изъ некрасивой личинки... Тутъ ср нъть лишняго слова, не только лишней страницы; вы все на мъстъ, все необходимо, потому что все вс перечувствовано прежде, чфмъ сказано, все видфио он прежде, чъмъ положено на картину... Нътъ лож- тр ныхъ чувствъ, ошибочныхъ образовъ, натянутато са восторга: все свободно, безъ усилія, то бурнымъ д потокомъ, то свътлымъ ручьемъ, излилось на бумагу... д Выстрота и разнообразіе ощущеній покорены един- и ству мысли; волненіе и борьба противоположных и элементовъ послушно сливаются въ одну гармонію, какъ разнообразіе музыкальныхъ инструментовъ въ эпкестръ, нослушныхъ волшебному жезлу капель- в къ мейстера... Но главное — все это блещеть своими, ло незаимствованными красками, все дышетъ ая бытной и творческой мыслью, все образуеть новый, вь дотолѣ певиданный міръ... \*).

МР H: ая ые

ъ, TЪ

ію,

ВЪ

## Лермонтовъ и Пушкинъ.

Нъть нужды говорить и доказывать, что Лерая ого монтовъ былъ великій поэть: въ этомъ уже давно ци- и единодушно согласились вст, кто только не лишенъ мы здраваго смысла и эстетическаго чувства. Блескъ ин поэтическаго ореола загорълся надъ головой молокъ дого поэта тотчасъ-же со времени появленія первыхъ въ его опытовъ. Немного Лермонтовъ успѣлъ произвести, ін, но это немногое тотчасъ-же дало ему во мити ъ общества мъсто подлъ Пушкина. Мало того: теперь ера уже спорять не о томъ, можеть-ли имя Лермонтова ды упоминаться вивств съ именемъ Пушкина, по о томъ: ими кто выше — Пушкинъ или Лермонтовъ? Подобный не- вопросъ и подобный споръ могуть быть плодомъ мъ самаго смешного детства, если въ нихъ дело будетъ къ идти не объ идеяхъ, а объ именахъ. Вообще тъ сравненія одного великаго поэта съ другимъ чрезцы; вычайно трудны; если-же въ нихъ видно желаніе все возвысить или уронить его на счетъ другого, то вие они просто нелвны и пошлы. Однакожъ злоупоож- требленіе какого-нибудь дізла не должно унижать аго самаго діла, и сравненіе одного писателя съ другимъ, ит дълаемое съ цълью оцънить върно и безпристрастно у... достоинства и недостатки каждаго изъ нихъ, съ полин- нымъ уваженіемъ къ обоимъ, есть одна изъ важихъ нъйшихъ задачъ здравой и основательной критики.

<sup>\*\*)</sup> Изъ замътки о второмъ изданіи «Героя нашего уль- времени».

Результатомъ такого сравненія можетъ быть толь объясненіе, въ чемъ именно заключается и велика об и слабая сторона того и другого поэта, чёмъ оди ме

изъ нихъ и выше, и ниже другого.

Какъ творецъ русской поэзіи, Пушкинъ на вѣчні но времена останется учителемъ (maestro) всёхъ буд то щихъ поэтовъ, но если-бъ кто-нибудь изъ них и подобно ему, остановился на идеъ художестве м ности, — это было-бы яснымъ доказательствомъ отсу Р ствія геніальности или великости таланта. Вот с почему или Лермонтовъ пошелъ дальше Пушкип з или онъ — талантъ обыкновенный, не стоящій тѣл разнообразныхъ толковъ и жаркихъ сноровъ, пре метомъ которыхъ онъ сдёлался. Въ самомъ дёл есть люди, которые считають Лермонтова не болъ какъ счастливымъ подражателемъ Пушкина, еп не успъвщимъ проложить собственной дороги д. своего таланта. Это мнение столь мелочно и опп бочно, что не стоить и возраженія. Нѣть двух поэтовъ столь существенно различныхъ, какъ Пун кинъ и Лермонтовъ. Пушкинъ -- поэтъ внутрения чувства души; Лермонтовъ — поэтъ безпощадно мысли истины. Павосъ Пушкина заключается в сферѣ самого искусства, какъ искусства; паеос поэзін Лермонтова заключается въ правственных вопросахъ о судьбѣ и правахъ человѣческой лич ности. Пушкинъ лелъялъ всякое чувство, и ем любо было въ теплой сторонъ предація; встрыч съ демономъ нарушали гармонію духа его, и оп содрогался этихъ встрѣчъ; поэзія Лермонтова растет на почвъ безпощаднаго разума и гордо отрицает преданіе. Для кого доступна великая мысль лучше поэмы его «Бояринъ Орша», и особенно мысль сцен суда монаховъ надъ Арсеніемъ, тѣ поймуть нас и согласятся съ нами. Демонъ не пугалъ Лермон онъ былъ его пѣвцомъ. Послѣ Пушкин ни у кого изъ русскихъ поэтовъ не было таког стиха, какъ у Лермонтова, и конечно Лермонтов

ика обязанъ имъ Пушкашу; но тёмъ не менѣе у Лерды монтова свой стихъ. Въ «Сказкъ для дътей» этотъ стихъ возвышается до удивительной художественчин ности; но въ большей части стихотвореній Лермонбуд това онъ отличается какой-то стальной прозанчностью нх и простотой выраженія. Очевидно, что для Лертве монтова стихъ былъ только средствомъ для выгсу раженія его идей, глубокихъ и вм'єсть простыхъ Вот своей безпошадной истиной, и опъ не слишкомъ дороин жилъ имъ. Какъ у Пушкина грація и задушевность, такъ у Лермонтова жгучая и острая сила состаråi. вляеть преобладающее свойство стиха: это трескъ ipe. грома, блескъ молнін, взмахъ меча, визгъ пули \*). Ľď

конецъ.

лъ ен д.

IIII зух [yn IRII Щю В 90¢ PLX ЛИЧ **e**M ŤЧ OH тет eT'ше em ac HOI Ш

OB'

<sup>\*)</sup> Изъ статьи «Библіографическія и журнальных. извъстія»

									3.
									В.
									В.
УК <b>Л</b> ЗР	Τ	E	Л	Ь.					В
								Стр.	B
"Бэла"			٠	٠		٠		5	
"Княжна Мэрн"				4	٠			16	
Пермонтовъ и Пушкинъ				٠				103	1
,Максимъ Максимыч"		4			•			12	1.
,Пъсня про купца ћалаш	HH	КО	Ba	64	4			64	
Стихотворенія				4			,	61	3
,Тамань"							٠	15	1
Фаталистъ"		•	٠		٠	٠	٠	49	1

SJ

3.

IV IV

I

## Классныя изданія Всеобщей Биоліотеки:

3. Г. Бълинскій. Избранныя сочиненія. І. О поэзіи. Съ портр. автора. № 91.—10 коп.

3. Г. Бълинскій. Избранныя сочиненія. II. Русская литература отъ Ломоносова и Пушкина. № 92.—10 к.

В. Г. Бълинскій. Избранныя сочиненія. ІІІ. А. С. Пушкинъ. № 93, 94.—20 коп.

В. Г. Бълинскій. Избранныя сочиненія. IV. Н. В. Гоголь. № 95.—10 коп.

В. Г. Бълинскій. Избранныя сочиненія. V. М. Ю. Лермонтовъ. № 96, 97.—20 коп.

стр.В.Г.Бълинскій. Избранныя сочиненія. VI. Новая русская литература. № 98.—10 коп.

Вст выпуски въ одномъ переплетт 90 коп.

5

49

- 16 1031. 3. Проф. Т. Грановскій. Четыре характеристики: Тимуръ, Александръ Великій, Людовикъ IX, Бэ-12 конъ. Съ портр. автора. № 1.—10 коп.
- 61 3. Н. Гоголь. Ревизоръ (съ иллюстр.). № 53.—10 коп.
- 15 1. А. Грибо вдовъ. Горе отъ ума. Съ портр. автора. № 2.—10 коп.
  - А. Кольцовъ. Избранныя стихотворенія съ портретомъ, біографіей и обзоромъ критич. литературы. № 83.--10 коп.
  - М. Лермонтовъ. Стихотворенія. № 57.—10 коп.
  - М. Лермонтовъ. Поэмы. № 58, 59.—20 коп.
  - М. Лермонтовъ. Герой нашего времени. № 60-61.-20 коп.
  - М. Лермонтовъ. Маскарадъ. № 62.—10 коп.

Вст выпуски въ одномъ переплетт 70 коп.

Слово о полку Игоревъ. Текстъ, переводы, критич. литература. (М. Н. Пр. допущено какт учебное пособіе). № 37.—10 коп., въ мягкомъ пер. 20 к.

## ПЕЧАТАЮТСЯ:

Н. А. Добролюбовъ. Избранныя сочиненія.



